

18+

НАЦУМЭ СОСЭКИ

Свет и тьма

РОМАН

Нацумэ Сосэки

Свет и тьма. Роман

«Издательские решения»

Сосэки Н.

Свет и тьма. Роман / Н. Сосэки — «Издательские решения»,

Роман «Свет и тьма» представляет собой не просто историю взаимоотношений внутри молодой семьи, но и глубокое психологическое исследование самой природы японского общества в эпоху модерна, исследование, которое из-за смерти автора так и не было закончено.

© Сосэки Н.

© Издательские решения

Содержание

Свет и тьма Нацумэ Сосэки: трагедия невысказанного	7
I	10
II	12
III	13
IV	15
V	17
VI	18
VII	20
VIII	22
IX	24
X	26
XI	28
XII	30
XIII	32
XIV	33
XV	35
XVI	37
XVII	39
XVIII	41
XIX	43
XX	45
XXI	47
XXII	49
XXIII	51
XXIV	53
XXV	55
XXVI	57
XXVII	59
XXVIII	61
XXIX	63
XXX	65
XXXI	67
XXXII	69
XXXIII	71
XXXIV	73
XXXV	75
XXXVI	77
XXXVII	79
XXXVIII	81
XXXIX	83
XL	85
XLI	87
XLII	89
XLIII	91
XLIV	93
XLV	95

XLVI	96
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Свет и тьма Роман

Нацумэ Сосэки

Переводчик Павел Соколов

© Нацумэ Сосэки, 2026

© Павел Соколов, перевод, 2026

ISBN 978-5-0070-8184-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Свет и тьма Нацумэ Сосэки: трагедия невысказанного

В литературе существует особый жанр — незаконченный роман. «Человек без свойств» Роберта Музиля, «Последний магнат» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Первый человек» Альбера Камю. И, разумеется, шедевры Франца Кафки. Достойное место в этом ряду занимает и произведение Нацумэ Сосэки «Свет и Тьма».

Роман печатался в газете «Асахи Симбун» с 16 мая по 14 декабря 1916 года. Сам автор умер 9 декабря того же года в возрасте 49 лет. Нацумэ Сосэки тяжело болел в последние годы жизни и знал, что осталось ему недолго. Тем не менее, вплоть до последних дней он неустанно работал над своим детищем. Увы, точку в этом произведении поставила сама смерть.

Уход писателя стал ударом для литературной жизни тех лет. Это событие особенно глубоко повлияло на учеников мастера: Акутагаву Рюноскэ и Кумэ Масао. Последние не раз в своих воспоминаниях и произведениях так или иначе возвращались к своему учителю. Особенно Акутагава.

Нацумэ Сосэки ещё при жизни получил статус мэтра, а впоследствии стал национальным гением. Его портрет даже украшал ассигнацию в 1000 иен. Произведения классика входят в обязательную школьную программу в Японии, изучаются в университетах по всему миру и переводятся на иностранные языки.

Роман Нацумэ Сосэки «Свет и тьма» занимает уникальное место не только в национальной, но и в мировой литературе. Его незавершенность, продиктованная не волей автора, а трагическим стечением обстоятельств превращает финал произведения в мощный художественный жест. Подобно тому, как обрыв сюжетной линии у Кафки или Музиля становится частью их философской эстетики, здесь обрыв повествования не является дефектом, а превращается в сильное высказывание. Роман «Свет и тьма» представляет собой не просто историю взаимоотношений внутри молодой семьи, но и глубокое психологическое исследование самой природы японского общества в эпоху модерна, исследование, которое из-за смерти автора так и не было закончено. И диагноз социуму поставила сама история много лет спустя.

Фабульная канва произведения обманчиво проста: молодая супружеская пара, Цуда и О-Нобу, переживает кризис первого года совместной жизни. Однако Сосэки превращает эту, казалось бы, бытовую (почти сериальную) историю в многомерное полотно, где каждый диалог, каждая пауза и каждое недомолвленное слово — это свидетельство крушения старого мира и мучительного рождения нового, мира, где индивид оказывается запертым в клетке собственного «я». Действие романа, сжатое до нескольких дней — от визита Цуды к врачу до его отъезда на курорт, — становится микроскопом, позволяющим рассмотреть анатомию душевных движений персонажей.

Центральная художественная задача Сосэки — показать процесс отчуждения между людьми, которые, казалось бы, должны быть наиболее близки. Роман построен как система «зеркал», где каждый персонаж видит лишь отражение своих собственных страхов и желаний. Цуда видит в О-Нобу женщину, которую тот обязан «воспитывать» и которой должен управлять. При этом сама она оказывается для него непредсказуемой и неуправляемой. О-Нобу видит в Цуде идеал мужа, созданный её же тщеславием, и одновременно тайного незнакомца, носящего в себе ложь и недомолвки.

Особое значение в этой системе имеет мотив «дневного» и «ночного» сознания. Сцена в больнице, где Цуда и Хидэ спорят, а О-Нобу подслушивает, является ключевой не только сюжетно, но и метафизически. Это тот момент, когда тьма (сомнения, невысказанные обиды, тайные планы) впервые отчетливо проступает сквозь свет (внешнюю благопристойность, семейные узы, социальные обязательства). Именно в этой сцене скрытые линии напряжения между персонажами обнажаются до предела. Сестра главного героя, Хидэ, используя язык

морали, на самом деле обнажает перед братом и его женой их главный страх: что они являются людьми, утратившими способность к искренней благодарности, то есть существами, лишенными подлинной человечности.

Сосэки с беспощадной точностью фиксирует тот факт, что внешние атрибуты счастья и благополучия становятся орудием пытки и социального контроля. О-Нобу пытается купить любовь мужа демонстративной щедростью (чек от Окамото, манипуляция с деньгами Хидэ), тогда как Цуда пытается купить покой, уступая давлению госпожи Ёсикава и планируя поездку на курорт. Эта «экономика» чувств пронизывает весь роман. Самое страшное, что персонажи уже не могут отличить подлинные эмоции от их товарного эквивалента — будь то деньги, социальное положение или услуга.

Персонаж Кобаяси выступает в романе как своего рода провокатор, разрушающий эту систему «двойных бухгалтерий» души. Его появление в доме Цуды, требование пальто и откровенно провокационные разговоры с О-Нобу — это вторжение «тьмы» в освещенный уютный мир семьи. Кобаяси — человек, который находится вне системы координат, заданной капиталистическим Токио. Он не притворяется, а просто говорит правду, но именно эта правда для Цуды и О-Нобу оказывается худшим из зол. Кобаяси не оскорбляет их, а просто показывает им их же собственное отражение в «кривом» зеркале бедности и отверженности. Важно, что Кобаяси не просит милостыни, он приходит как кредитор, требующий возврата долга, который их благополучный мир задолжал всем «неудачникам» вроде него.

Уже в 1917 году грянет Октябрьская революция, саму Японию на закате Первой мировой войны захлестнут рисовые бунты, а спустя пару лет поднимется мощное левое движение, породившее пролетарскую литературу. Примечательно, что Кобаяси по сюжету должен был отправиться в Корею, которая всего за шесть лет до смерти Нацумэ Сосэки была присоединена к Японской империи.

Сцена в ресторане, где Цуда дает Кобаяси деньги, а тот тут же передает часть из них бедному художнику, является квинтэссенцией иронии автора. Деньги, которые Цуда выпросил у О-Нобу, а О-Нобу — у Окамото, символизируют всю фальшь их семейного счастья. Передавая эти деньги Кобаяси, Цуда пытается откупиться от беспокоящей его правды, но Кобаяси умело превращает этот жест в спектакль, переправляя иены (что символично 30 иен, 30 серебряников) дальше по цепочке страдающих. Тем самым он подчеркивает: проблема не в деньгах, проблема в той пустоте, которую они призваны скрыть.

Курортный эпизод в конце романа — это место предельного обнажения «тьмы». Цуда приезжает туда, чтобы встретиться с Киёко, женщиной, которую он когда-то любил, ставшую при этом чужой женой и пережившую выкидыш. Этот визит — не просто интрижка или мимолетное увлечение. Это попытка Цуды найти «истинное» чувство, то есть ту подлинность, которой ему так не хватает в отношениях с О-Нобу. Однако встреча с Киёко парадоксальным образом ничего ему не проясняет. Киёко оказывается такой же «зазеркальной» фигурой, как и все остальные.

Сцена, где Цуда ночью заблудился в коридорах гостиницы, является одним из самых сильных символов романа. Он не знает пути назад, герой потерян в этом лабиринте собственной жизни, в котором нет ни карт, ни выхода. Его отражение в большом зеркале пугает его самого — он видит того, кого не узнает. Этот визуальный образ (человек, бредущий по бесконечным коридорам, рассматривающий свое и при этом чуждое отражение) — это метафора всего внутреннего состояния героя. Он ищет Киёко, но находит лишь собственную растерянность. Он хочет понять прошлое, но застревает в мучительном настоящем.

В этом контексте любопытно рассмотреть образ О-Нобу, которая, в отличие от Киёко, живет исключительно логикой социальных отношений. Она — продукт модернизирующейся Японии, где статус и блеск становятся главными ценностями. Она не может позволить себе

чувствовать искренне, потому что её чувства должны быть «продемонстрированы» и «предъявлены» мужу, чтобы завоевать его расположение.

При этом мысли самого Цуды то и дело перебиваются чужими голосами, и невозможно понять, где заканчивается его собственное сознание и начинается чужое влияние — О-Нобу, госпожи Ёсикава, Кобаяси. Эта полифония внутреннего мира героя приводит к тому, что его действия становятся не его действиями, а лишь реакцией на раздражения извне. Он едет на курорт не потому, что хочет этого, а потому, что госпожа Ёсикава так решила. Он дает деньги Кобаяси не из доброты, а потому что поддался давлению. Он женился на О-Нобу, возможно, тоже потому, что это было «нужно» сделать. Так надо, так принято. И точка. Цуда — крайне неприятный персонаж, эгоистичный, нарциссичный. Впрочем, другие герои не лучше.

Незавершенность романа превращает эту историю в бесконечный вопрос. Что произойдет дальше? Вернется ли Цуда к О-Нобу или уйдет с Киёко? Арестуют ли Кобаяси? Как отреагирует общество в лице богатых покровителей? Писатель не столько хотел дать решение, сколько зафиксировать само состояние нерешительности всего общества. Роман также является мощной социальной сатирой. Сосэки с беспощадностью показывает, как новый капиталистический порядок (Токио, светские вечера, театры, кафе) деформирует человеческие души.

Символизм названия «Свет и тьма» раскрывается на всех уровнях текста. Это не просто метафора добра и зла. Это описание состояния современной души, где свет (рациональность, буржуазный порядок, ясность намерений) и тьма (иррациональные страхи, бессознательное, подавленные желания) находятся в постоянной борьбе, но ни одна из сторон не может одержать окончательную победу. Каждый поступок Цуды, который он считает разумным (например, сокрытие прошлых отношений с Киёко от О-Нобу), порождает еще больше тьмы, а вернее мрака. Каждое требование О-Нобу о «прозрачности» (она хочет знать всё о муже) порождает ещё больше обмана.

Интересно, что Сосэки избегает однозначного осуждения своих персонажей. Цуда не злодей, а скорее жертва собственного воспитания и эпохи. Он искренне хочет быть хорошим мужем, но не знает, как это добиться. О-Нобу не злодейка, она женщина, загнанная в ловушку собственного тщеславия и социальных ожиданий. Даже Хидэ, которую трудно назвать приятным персонажем, движима не столько злобой, сколько отчаянием от попытки сохранить свою значимость в семье. Сосэки отказывается от театральной оппозиции «положительных» и «отрицательных» героев в пользу сложного психологического реализма, где каждый неправ, но никто не виноват.

Роман «Свет и тьма» остается одной из вершин японского и мирового психологического реализма эпохи модерна. Он не дает ответов, но ставит вопросы, которые не устаревают: возможна ли настоящая близость между людьми? Можно ли жить честно в мире, построенном на деньгах и социальном статусе? Что делать с «тьмой» собственной души, которую мы так тщательно прячем от любимых? Сосэки не дожил до того, чтобы завершить свое произведение, но именно эта незавершенность стала его самым сильным философским утверждением. История обрывается на полуслове, потому что у современного человека, по-видимому, нет слов для ответа. Мы остаемся вместе с Цудой на лестнице гостиницы, глядя на бледную фигуру Киёко, и не знаем, что делать дальше. Это состояние мучительного незнания и есть, по Сосэки, самая подлинная правда о «свете и тьме» человеческого существования.

Павел Соколов

I

Исследование фистулы прямой кишки было закончено, и врач помог Цуде встать с операционного стола.

— Свищ, как я и думал, уходит довольно глубоко. В прошлый раз при обследовании я наткнулся на рубец — такое небольшое уплотнение, — и решил, что это конец канала, так я вам тогда сказал. Но сегодня я соскоблил его, чтобы расширить, и обнаружил, что за ним есть ещё один ход.

— И он добрался до кишечника?

— Да. Я думал, глубина около сантиметра с половиной, а вышло почти три сантиметра.

На лице Цуды сквозь горькую усмешку проступил лёгкий оттенок разочарования. Врач, сложив руки на груди поверх своего просторного белого халата, слегка склонил голову набок. В его позе читалось: «Мне жаль, но факт остаётся фактом, ничего не поделаешь. Медик не имеет права лгать в силу своих профессиональных клятв».

Цуда молча поправил пояс и, взяв хакама, которое было переброшено через спинку стула, снова повернулся к доктору.

— Если фистула такая глубокая, значит, её уже не вылечить?

— Вовсе нет, — живо и в то же время бесцеремонно возразил медик, словно отрицая не только произнесённые слова, но и само настроение Цуды.

— Просто так, как до сих пор, только чистить отверстие — бесполезно. Так можно до бесконечности ждать, пока заживёт, но ничего не выйдет. На этот раз нужно изменить метод лечения и решиться на радикальную операцию, другого выхода нет.

— Что значит «радикальная операция»?

— Иссечение. В случае успеха обе стороны естественной раны постепенно срастутся, и можно сказать, что вы выздоровеете по-настоящему.

Цуда молча кивнул. Рядом с ним, на столе, стоявшем у окна, выходящего на юг, находился микроскоп. Цуда был в приятельских отношениях с лечащим врачом и, когда вошёл в кабинет, из любопытства заглянул в прибор. Тогда на дне линзы с восьмисотпятидесятикратным увеличением он увидел окрашенные, гроздевидные бактерии, чёткие, словно нарисованные.

Надев хакама и взяв со стола кожаное портмоне, Цуда вдруг вспомнил об этих бактериях. И эта ассоциация мгновенно наполнила его грудь тревогой. Спрятав портмоне за пазуху, чтобы выйти из кабинета, он уже собрался было уходить, но снова заколебался.

— А если у этого туберкулёзная природа, то даже после такой радикальной операции, о которой вы говорите, и иссечения, оно ведь всё не заживёт?

— При туберкулёзе — да, бесполезно. Тогда свищ будет углубляться всё дальше и дальше, и лечение одного лишь входа ничего не даст.

Цуда невольно нахмурился.

— У меня ведь не туберкулёз?

— Нет, не туберкулёз.

Цуда на мгновение пристально посмотрел на медика, пытаясь понять, насколько искренни его слова. Тот был невозмутим.

— Как же вы это определяете? При обычном осмотре?

— Да. По тому, что видно.

В этот момент в дверях комнаты появилась медсестра и назвала фамилию пациента, стоявшего за спиной Цуды. Бедолага, ожидавший своей очереди, сразу же возник за ним. Цуде нужно было удалиться.

— Тогда когда можно будет провести эту радикальную операцию?

— Когда угодно. В любое удобное для вас время.

Цуда решил, что назначит день, хорошенько обдумав свои жизненные обстоятельства, и вышел из комнаты.

II

Когда он сел в трамвай, настроение у него было подавленное. В вагоне, набитом битком, так что не пошевелиться, он, уцепившись за ремень, думал только о своём. Прошлогодняя боль ярко всплыла в его памяти. Цуда ясно увидел своё жалкое тело, распростёртое на белой больничной кровати. Он отчётливо услышал свой стон, похожий на вой пса, когда тот не может оторваться от цепи. А затем — холодный блеск лезвий, их лязг, и, наконец, внезапное, чудовищное давление, словно разом выкачившее воздух из обоих лёгких, и острая, неистовая боль, которая, казалось, возникала оттого, что сдавленный воздух, не в силах сжаться, разрывал его изнутри, — всё это нахлынуло на него.

Ему стало неприятно. Он резко сменил направление мыслей и огляделся вокруг. Окружавшие его пассажиры, даже не замечая его существования, сохраняли невозмутимый вид. Он продолжил размышлять.

«Почему я пережил такие мучения?»

О той боли, что внезапно, без всякого предупреждения, началась у него по дороге с прогулки в период цветения сакуры на дамбе Аракава, Цуда был совершенно неосведомлён. Её причина была за гранью любых предположений. Это было не столько странно, сколько страшно.

«Это тело в любой момент может претерпеть любую перемену. Мало того, возможно, даже сейчас внутри него происходит какая-то перемена. А я совершенно ничего не знаю. Страшно».

Дойдя до этого места, его мысли не могли остановиться. С силой, словно его внезапно толкнули сзади, они понеслись дальше. И вдруг он воскликнул про себя: «То же самое и в духовном мире! В духовном мире всё точно так же! Не знаешь, когда и как всё переменится. И я видел эту перемену!»

Он невольно крепко сжал губы и обвёл окружающих взглядом человека, чьё самолюбие было уязвлено. Но пассажиры, ни сном ни духом не ведавшие о том, что творилось у него в душе, не обратили на его взгляд никакого внимания.

Голова Цуды, словно трамвай, в котором он ехал, мчалась вперёд по собственной колее. Он вспомнил рассказ о математике Пуанкаре, который слышал два-три дня назад от одного друга. Тот приятель, объяснявший ему значение «случайности», сказал:

— Понимаешь, то, что в мире называют случайностью, случайным событием, по теории Пуанкаре, так говорят, когда причина настолько сложна, что её сразу и не определишь. Для того чтобы родился Наполеон, нужно было соединение особой яйцеклетки и особого сперматозоида. А если подумать, какие условия были необходимы для того, чтобы это соединение стало возможным, то, наверное, это и представить себе невозможно.

Цуда не мог просто пропустить слова друга мимо ушей как очередной пустой обрывок новой информации. Он сразу же примерил их к собственной жизни. И ему показалось, что какая-то тёмная, непостижимая сила толкает его, человека, который должен был идти направо, налево, или же тянет назад, когда нужно было идти вперёд. И при этом он никогда не чувствовал, чтобы кто-то другой управлял его поступками. Всё, что он делал, он делал сам, всё, что говорил, несомненно, произносил сам.

«Почему эта женщина вышла замуж именно за того человека? Несомненно, она вышла, потому что сама так захотела. Но ведь она вовсе не должна была выходить замуж за него. И потом, почему я женился на той, на ком женился? Женитьба, конечно, состоялась потому, что я сам захотел взять её в жены. Но я никогда прежде не думал об этом. Случайность? То, что Пуанкаре называл пределом сложности? Что-то я ничего не понимаю».

Выйдя из трамвая, он направился к дому, погружённый в мысли.

III

Повернув за угол и войдя в узкий переулок, Цуда заметил у ворот своего дома фигуру жены. Она смотрела в его сторону. Но как только тень супруга показалась из-за угла, она тотчас же повернулась обратно. И, приставив белую тонкую руку козырьком ко лбу, сделала вид, будто разглядывает что-то наверху. Она не меняла этой позы, пока Цуда не подошёл к ней вплотную.

— Эй, что ты там рассматриваешь?

Услышав голос мужа, жена, словно испугавшись, резко обернулась.

— Ах, как вы меня напугали! С возвращением.

Одновременно она собрала всё сияние своих глаз и устремила его на супруга. Затем слегка согнулась в пояснице и сделала лёгкий поклон.

Цуда, наполовину желая ответить на её кокетство, наполовину колеблясь, замер на месте.

— Зачем ты стоишь в таком месте?

— Жду вас. Вашего возвращения.

— Но ты же на что-то уставилась с таким видом?

— А, это воробей. Наверное, вон в том доме, на карнизе второго этажа, воробей свил гнездо.

Цуда мельком взглянул на крышу соседнего жилища. Но там не было видно даже тени, похожей на воробья. Жена тотчас же протянула руку к мужу.

— Что?

— Трость.

Цуда, словно только сейчас заметив, передал супруге свою трость. Получив её, та сама открыла решётчатую дверь прихожей и пропустила мужа вперёд. Затем и сама, следуя за ним, поднялась с камня для снятия обуви.

Переодев супруга, она, едва тот сел у жаровни, уже спешила выйти из кухни, неся завернутую в полотенце мыльницу.

— Идите-ка сейчас, пока есть время, примите ванну. А то сядете тут и обленитесь.

Цуда, делать нечего, протянул руку и взял полотенце. Но встать сразу не стал.

— Может, сегодня без ванны?

— Почему?.. Идите, освежись. Вернёшься — я сразу же подам ужин.

Цуда, делать нечего, снова поднялся. Выходя из комнаты, он мельком оглянулся на супругу.

— Сегодня по дороге домой зашёл к доктору Кобаяси, показался ему.

— Вот как? И что же, каков результат осмотра? Наверное, уже совсем выздоровели?

— А вот и нет. Всё ещё хуже стало.

С этими словами Цуда, оставив без ответа следовавшие вопросы от женщины, желавшей узнать подробности, вышел на улицу.

Та же тема вернулась в разговор супругов вечером, после ужина, когда Цуда ещё не ушёл к себе в комнату.

— Как это неприятно, резать... Страшно. Неужели нельзя оставить всё как есть?

— Похоже, если верить врачу, пускать всё на произвол судьбы — опасно.

— Но всё равно не хочу. А вдруг они что-нибудь повредят во время операции?

Жена слегка сдвинула свои красивые, чётко очерченные брови и посмотрела на мужа. Цуда, не придавая значения её словам, улыбнулся. Тогда супруга, словно внезапно вспомнив, спросила:

— Если делать операцию, то, наверное, опять только в воскресенье и получится?

У жены на следующее воскресенье была договорённость пойти с мужем в театр по приглашению родственников.

- Билеты ведь ещё не куплены, так что ничего страшного, даже если мы откажемся.
 - Но это грубо. Они так любезно приглашали, а мы не сможем.
 - Отнюдь не грубо. Если отказываешься по уважительной причине.
 - Но я же хочу пойти!
 - Если хочешь, ступай одна.
 - Почему же вы так противитесь? Вам что же, не хочется?
- Цуда взглянул на лицо супруги и лишь горько усмехнулся.

IV

Жена его была женщиной с белой кожей. Из-за этого её красиво очерченные брови казались ещё более выразительными. Она имела привычку часто ими подёргивать. К несчастью, глаза у неё были слишком узкими. Вдобавок — невыразительными, с одинарным веком. Однако зрачки, сиявшие в этих глазах, были черны как смоль. И весьма подвижны. Порой они выражали даже нечто вроде своеволия, почти деспотизма. Цуду порой невольно притягивал свет, исходящий из этих очей. И в то же время бывало, что он без всякой причины отталкивался от этого света.

Когда он внезапно поднял глаза на супругу, то на мгновение ощутил в её взгляде какую-то странную силу. Это был странный блеск, совершенно не вязавшийся с теми сладкими словами, что та только что произносила. Его мысль, готовая было вырваться наружу и ответить на слова собеседницы, из-за этого взгляда на миг прервалась. Тогда она в сей же миг улыбнулась, обнажив красивые зубы. И в то же мгновение выражение её глаз исчезло бесследно.

— Шучу. Я могу и не ходить в театр. Это я просто покапризничала.

Молчавший Цуда ещё некоторое время не сводил с неё глаз.

— Что это вы смотрите на меня с таким серьёзным лицом?.. В театр я уже не пойду, так что в следующее воскресенье идите к Кобаяси и делайте свою операцию. Так же будет хорошо, правда? Окамото я в ближайшие два-три дня отправлю открытку, или, может, сама схожу и откажусь.

— Ты можешь идти. Раз уж тебя специально пригласили.

— Нет, я тоже откажусь. Ваше здоровье для меня важнее театра.

Цуда вынужден был рассказать жене более подробно о предстоящей операции.

— Говоришь, операция, но это не так просто, как выпустить гной из нарыва. Сначала надо принять слабительное, чтобы как следует очистить кишечник, а потом, когда уже будут резать, из-за опасности кровотечения, говорят, в рану тампон с марлей положат и так дней пять-шесть лежать неподвижно. Так что, даже если пойти в следующее воскресенье, одним выходным всё равно не обойдётся. Но, с другой стороны, перейдёт ли воскресенье на понедельник или на вторник — большой разницы нет, и если перенести воскресенье на завтра или на послезавтра — тоже всё равно. В этом смысле болезнь удобная.

— Не такая уж и удобная, дорогой. Целую неделю лежать пластом, не имея возможности пошевелиться.

Жена снова дёрнула бровью. Цуда, с видом полного безразличия к этому, о чём-то задумался и, опёршись правым локтем о край длинной жаровни, стоявшей между ними, уставился на крышку висевшего над ней чугунного чайника. Под крышкой, сделанной красной меди, громко кипела вода.

— Значит, вам всё же придётся взять отпуск на работе, на одну неделю?

— Поэтому я и думаю: сначала встречусь с господином Ёсикавой, объясню ему ситуацию, а уж потом решу, на какой день назначить. Конечно, можно было бы и молча взять отпуск, но так не годится.

— Да, лучше поговорить. Вы ведь у него на особом счету.

— Может, Ёсикава, как узнает, сразу скажет лечиться в больницу с завтрашнего же дня. Услышав слово «больница», супруга, казалось, попыталась расширить свои узкие глаза.

— В больницу? Вы ведь не ляжете в туда?

— Ну, вроде того.

— Но вы же говорили как-то, что у Кобаяси это вовсе не больница. Что все пациенты проходящие.

— Это не больница в полном значении этого слова, но на втором этаже его кабинета есть свободная комната, и можно устроиться там.

— Чисто там?

Цуда горько усмехнулся.

— Пожалуй, даже чище, чем дома.

Теперь горько усмехнулась уже его супруга.

V

Привыкший проводить час-другой перед сном за письменным столом, Цуда вскоре поднялся. Жена, по-прежнему в непринуждённой позе, опираясь на жаровню, смотрела на мужа снизу вверх.

— Опять заниматься?

Она часто говорила так с мужем, когда тот резко вставал. Всякий раз в её тоне, когда она произносила это, Цуде слышалось какое-то недовольство, словно ей чего-то не хватало. Иногда он пытался ответить на это заискиванием. Иногда, наоборот, ему хотелось убежать от этого, испытывая раздражение. В обоих случаях в глубине его души из-за этого нарастало осознание собственного превосходства. Получался взгляд на супругу свысока: «Не могу же я всё время только с тобой развлекаться. У меня есть свои дела».

Когда он молча открыл сёдзи и собрался было выйти в соседнюю комнату, супруга снова окликнула его со спины.

— Значит, в театр мы не идём? Я откажусь от имени Окамото, да?

Цуда на мгновение обернулся.

— Я же говорю: ты иди, если хочешь. А у меня, сама видишь, неизвестно, как всё сложится.

Жена опустила голову и больше не поднимала её на мужа. Ответа тоже не последовало. Цуда, больше не оборачиваясь, тяжело ступая по крутой лестнице, поднялся на второй этаж.

На его столе лежала довольно объёмистая книга на иностранном языке. Едва усевшись, он раскрыл её и, ориентируясь на закладку, начал читать с нужной страницы. Однако из-за того, что он запустил её дня на три-четыре, связь с уже освоенным материалом давалась ему с трудом. Чтобы восстановить эту связь, необходимо было перечитать предыдущее место, но, раздосадованный, вместо чтения просто бесцельно перелистывал страницы, с досадой глядя на толщину книги. И тогда невольно его охватило чувство, что путь предстоит долгий и трудный.

Он вспомнил, что впервые взял в руки эту книгу на третий-четвёртый месяц после женитьбы. Когда он оглянулся, оказалось, что с тех пор прошло уже больше двух месяцев, а прочитано меньше двух третей. Раньше Цуда часто при жене бранил многих людей, которые, выйдя в свет, сразу же забрасывают книги, называя их ничтожными глупцами. Супруга, слышавшая бурчание мужа, должна была признать его настоящим учёным, ибо он проводил наверху сравнительно много времени. Вместе с чувством отдалённости от достижения заветной цели откуда-то появилось и чувство стыда, неприятно задевшее его самолюбие.

Однако знания, которые он сейчас пытался извлечь из раскрытой перед ним книги, вовсе не были необходимы для его повседневной работы. Они были слишком специальными и слишком возвышенными для этого. Они почти не имели отношения к его нынешней службе, где даже знания, полученные из университетских лекций, редко приносили практическую пользу. Он просто хотел накопить их как некое подспорье для уверенности в себе. Хотел носить их при себе как украшение, привлекающее внимание других. Когда перед ним смутно забрезжила трудность этого, он мысленно задал вопрос собственному тщеславию: «Неужели так и не выйдет?»

И молча закурил. Затем, словно внезапно опомнившись, закрыл книгу и встал. И, быстро ступая, снова заскрипел лестницей, спускаясь вниз.

VI

— Эй, О-Нобу!

Окликнув жену по имени через закрытые сёдзи, он тотчас же раздвинул бумажную перегородку и остановился на пороге гостиной. И тут же его взору предстали цвета красивых поясов и кимоно, разложенных перед ней, сидящей у длинной жаровни, — они появились неизвестно откуда. Когда его глаза, привыкшие к темноте прихожей, заглянули в ярко освещённую электричеством комнату, это показалось ему ещё более роскошным и ярким, чем обычно. Он на мгновение задержался, сравнивая лицо жены и пёстрые узоры.

— В такое время? Зачем ты это достала?

О-Нобу, держа на коленях конец тяжёлого пояса с узором «веер», взглянула на Цуду издали.

— Просто так, посмотреть. Я ведь этот пояс ещё ни разу не надевала.

— И что же, теперь хочешь в таком наряде отправиться в театр?

В словах Цуды сквозила насмешка, сопровождаемая нотками холода. О-Нобу, ничего не ответив, опустила голову. И, как обычно, чуть дёрнула чёрной бровью. Это свойственное ей движение порой странно волновало Цуду, а порой странно портило ему настроение. Он молча вышел на веранду и открыл дверь уборной. Затем снова собрался подняться вверх. Но тут уже жена окликнула его.

— Дорогой! Дорогой!

Она подошла к нему. И, словно преграждая ему путь, спросила:

— Вам что-нибудь нужно?

Его дело сейчас было для него важнее, чем пояс супруги или нижнее кимоно.

— От отца письмо ещё не приходило?

— Нет, если придёт, я, как обычно, положу на ваш стол.

Цуда спустился вниз специально потому, что ожидаемого послания на столе не было.

— Посмотреть в почтовом ящике?

— Если придёт, то заказное, в ящик его не бросят.

— Да, конечно. Но на всякий случай я всё же взгляну.

О-Нобу открыла решётчатую дверь прихожей и собралась сойти вниз, на камень для снятия обуви.

— Бесполезно. Заказное письмо туда не положат.

— Но, может, не заказное, а простое, так что подожди минутку.

Цуда наконец вернулся в гостиную и сел в позе агура («иностранная поза» или «по-турецки», сидение в позе со скрещенными ногами может показаться неформальным и неприемлемым в некоторых ситуациях — прим. ред). на подушку для сидения, которая всё ещё лежала перед жаровней на том же месте, где он трапезничал. Затем он устался на яркие, пёстрые узоры кимоно, разбросанные в беспорядке.

В руках О-Нобу, вернувшейся из прихожей, действительно было письмо.

— Есть одно! Может, и правда от папы?

С этими словами она поднесла белый конверт к яркому электрическому свету.

— Ах, так я и думала, от папы!

— Как, не заказное?

Цуда, взяв конверт, тут же вскрыл его и пробежал глазами. Но когда, дочитав, он сворачивал его, чтобы снова убрать в конверт, руки его двигались лишь механически. Он не смотрел ни на свои руки, ни на лицо О-Нобу. Рассеянно глядя на полосатый узор грубого шёлка выходного наряда жены, пробормотал, словно про себя:

— Вот незадача.

— Что случилось?

— Да ничего особенного.

Самолюбивый Цуда не хотел рассказывать супруге, с которой только недавно поженился, о содержании послания. Но в то же время это было то, о чём он должен был ей рассказать.

VII

— Пишет, что в этом месяце не может, как обычно, прислать денег, так что пусть, мол, сам как-нибудь изворачивайся. Вот ведь старые люди, с ними просто беда. Если так, сказал бы раньше, а то в самый последний момент, когда деньги позарез нужны, и вдруг такое письмо...

— А в чём, собственно, дело?

Цуда снова достал из конверта уже убранный было послание и развернул его на коленях.

— Говорит, в двух сдаваемых домах в конце прошлого месяца освободились квартиры. И за те, что уже пустуют, плата, естественно, не поступает. А тут ещё, пишет, на садовые работы да на починку изгороди ушло много непредвиденных расходов, так что в этом месяце выслать деньги не может.

Он протянул развёрнутое письмо О-Нобу, сидевшей по другую сторону жаровни. Та молча взяла его, но даже не сделала вида, что собирается читать. Этой холодности жены Цуда и опасался с самого начала.

— Да что там квартирная плата! Если бы он захотел прислать, средства бы нашлись на что угодно. Сколько, в конце концов, стоит починить эту изгородь? Не кирпичную же стену он возводит с нуля!

В словах Цуды не было фальши. Его отец, хоть и не был богат, вовсе не находился в столь стеснённых обстоятельствах, чтобы не иметь возможности ежемесячно помогать сыну с невесткой покрывать недостачу в их семейном бюджете. Просто он был человеком прижимистым. С точки зрения Цуды — даже чересчур, до скупости. А для его супруги, которая была куда более склонна к тратам, чем он сам, свёкор был просто скрягой.

— Папа, наверное, полагает, что мы с тобой сорим деньгами и шикуем. Точно, так он и думает.

— Гм, он и в прошлый раз, когда мы в Киото ездили, что-то подобное да говорил, помнишь? Старики, они ведь как: помнят, как сами жили в молодости, и считают, что и нынешняя молодёжь того же возраста должна во всём поступать точно так же. Может, папе сейчас столько же лет, сколько и мне тогда было, по возрасту-то разницы нет, но окружение-то совсем другое, так что существовать также не получится. Помню, как-то он спросил, сколько взнос за собрание, я сказал — пять иен, так он так удивился, лицо у него стало испуганное.

Цуда всегда боялся, как бы О-Нобу не стала относиться к его отцу с пренебрежением. И всё же он вынужден был ронять при ней слова, похожие на упрёки в адрес своего родителя. Эти реплики выражали эмоции, которые он действительно чувствовал. В то же время, в смысле упреждения критики со стороны О-Нобу, это было и его собственное оправдание, и оправдание родителя.

— И что же мы будем делать в этом месяце? Нам и так едва хватает, а тут ещё вы ляжете на неделю в больницу из-за операции, наверное, и это будет стоить каких-то денег.

Жена, избегавшая в присутствии мужа критиковать старика, быстро перешла к практической стороне дела. Ответ у Цуды был не готов. Помолчав, он тихо, словно про себя, пробормотал:

— Если бы у дяди Фудзии были деньги, можно было бы сходить к нему...

О-Нобу пристально посмотрела на мужа.

— А нельзя ещё раз написать папе? Заодно и про болезнь сообщить.

— Написать-то можно, но если он опять начнёт выдвигать условия, только лишние хлопоты. Если уж отец за что-то возьмётся, просто так это не кончится.

— Но если больше обратиться не к кому, делать нечего.

— Я и не говорю, что не напишу. Постараюсь, чтобы он как следует осознал наше положение, но сразу, сама понимаешь, не получится.

— Да, наверное.

Тут Цуда прямо посмотрел на О-Нобу. И тоном человека, решившегося на крайность, сказал:

— А что, если ты сходишь к Окамото и попросишь займы?

VIII

— Нет, я не пойду.

О-Нобу отказала сразу. В её словах не было ни малейшего колебания. Её тон, лишённый какой-либо сдержанности или деликатности, застал Цуду совершенно врасплох. Он испытал потрясение, словно автомобиль, мчавшийся на приличной скорости, вдруг резко затормозил. Прежде чем обидеться на жену за её бессердечие, супруг просто опешил. И устался на неё.

— Я не хочу. Идти с таким разговором.

О-Нобу повторила мужу те же слова.

— Вот как? Ну, если не хочешь, я вовсе не заставляю. Но...

Когда Цуда произнёс это, О-Нобу, словно пытаясь поймать и отбросить прочь его холодные (но спокойные) слова, прервала его:

— Но мне же будет неловко! Каждый раз, как я туда прихожу, мне твердят: «О-Нобу, ты счастливица, что вошла в такую хорошую семью, никаких забот, никакой нужды». И вдруг, после всего этого, ни с того ни с сего завести разговор о деньгах — они, конечно, странно на меня посмотрят.

До Цуды наконец дошло, что О-Нобу отвергла его просьбу не столько из-за отсутствия сочувствия к нему, сколько из-за боязни потерять лицо перед Окамото. Холодный огонёк в его глазах погас.

— Плохо, если они так расхваливают наше благополучное житьё. Пусть даже и переоценивают, но от этого вреда больше, чем пользы.

— Я ничего не расхваливала. Это они сами так решили.

Цуда не стал допытываться. О-Нобу тоже не стала утруждать себя дальнейшими объяснениями. После небольшой паузы они снова вернулись к насущной проблеме. Но Цуда, никогда прежде особо не убивавшийся из-за денег, так и не мог придумать никакого выхода. Только и твердил: «Ну, отец, удружил так удружил!»

О-Нобу, словно случайно вспомнив, перевела взгляд на свои праздничные наряды и пояс, о которых они уже забыли.

— А может, их?

Она взяла в руки конец тяжёлого пояса с золотой нитью и, чтобы муж мог его видеть, поднесла к свету электрической лампы. Цуда не сразу понял, что она имеет в виду.

— Что значит «их»?

— Если отнести в ломбард, ведь деньги дадут, правда?

Цуда был поражён. То, что молодая супруга, только что вышедшая за него замуж, с самого начала знает о таких способах сводить концы с концами, о которых он сам никогда и не помышлял. Это было для него открытием, достойным удивления.

— Ты что, уже закладывала когда-нибудь свои кимоно?

— Нет, конечно.

О-Нобу, смеясь, отвергла его вопрос тоном, в котором сквозило пренебрежение.

— Тогда ты и не знаешь, как это делается.

— Ну и что? Наверное, ничего сложного. Если уж решено заложить.

Цуда не хотел, если не будет крайней необходимости, чтобы его жена занималась такими низменными делами. О-Нобу возразила:

— Я знаю, что сейчас так делают. Вон та служанка, когда была у нас, часто, говорят, ходила в ломбард с узелком. А теперь, рассказывают, даже открытку достаточно послать — они сами приезжают за вещами.

То, что она готова была пожертвовать своими драгоценными кимоно и поясом ради него, было для Цуды приятным фактом. Но заставлять её идти на это было для него не чем иным,

как унижением. Он колебался не столько из жалости к жене, сколько из боязни уязвить своё мужское достоинство.

— Ладно, давай хорошо всё обдумаем.

Не найдя никакого решения своей финансовой проблемы, глава молодого семейства снова поднялся на второй этаж.

IX

На следующий день Цуда, как обычно, отправился на службу. Около полудня он случайно столкнулся на лестнице с Ёсикавой. Но так как первый спускался, а второй поднимался, они, столкнувшись, лишь вежливо поклонились друг другу, и Цуда ничего не сказал. Ближе к обеду он тихонько постучал в дверь кабинета Ёсикавы и, проявляя осторожность, просунул в приоткрытую дверь половину лица. В это время Ёсикава, попыхивая сигаретой, разговаривал с каким-то посетителем. Посетитель этот, разумеется, был Цуде незнаком. Когда он приоткрыл дверь, оживлённая, судя по всему, беседа хозяина и гостя внезапно прервалась. Оба повернулись к нему.

— Что-то нужно?

Ёсикава заговорил первым, и Цуда остановился на пороге.

— Я на минутку...

— По своему делу?

Цуда, разумеется, не был тем человеком, который мог входить и выходить из этой комнаты по служебным надобностям. С несколько смущённым видом он ответил:

— Да. На минутку...

— Тогда зайди попозже. Сейчас немного занят.

— Да, конечно. Прошу прощения, что побеспокоил.

Стараясь не шуметь, Цуда притворил дверь и вернулся к своему столу.

После обеда он ещё два раза подходил к той же двери. Но оба раза Ёсикавы там не было.

— Он куда-то ушёл?

Спустившись вниз, Цуда спросил об этом рассыльного у входа. Этот мальчик с правильными чертами лица, играя с длинношерстной собакой, лежавшей на полу, свистел, словно пытаясь загипнотизировать её и заманить наверх.

— Да, он только что ушёл вместе с посетителем. Может, сегодня сюда уже и не вернётся.

Этот рассыльный, проводивший свои дни, охраняя вход и следя за приходящими и уходящими, по крайней мере в этом вопросе был куда более надёжным предсказателем, чем Цуда. Последний, оставив в покое собаку, неизвестно кем приведённую, и рассыльного, который изо всех сил старался подружиться с ней, снова вернулся к своему столу. И просидел там, занимаясь делами, как обычно, до положенного часа.

Когда настало время уходить, он, чуть отстав от других, вышел из большого здания. Направляясь, как обычно, к остановке, но вдруг, словно вспомнив что-то, снова вынул часы из кармана и посмотрел на них. Это было сделано не столько для того, чтобы точно узнать время, сколько для того, чтобы решить, в какую сторону идти. Он раздумывал, зайти ли по дороге домой к Ёсикаве или нет, и это было похоже на то, как если бы он, не находя смысла, советовался с часами.

В конце концов Цуда вскочил в трамвай, идущий в противоположную от его дома сторону. Хорошо зная, что Ёсикава редко бывает на месте, он и не рассчитывал обязательно застать его, даже если доедет до его дома. Он понимал, что даже если этот человек и будет на месте, при неудобных обстоятельствах его могут просто не принять. Но ему время от времени было необходимо проходить под воротами дома Ёсикавы. Это было нужно и из вежливости, и из чувства долга, и из соображений выгоды. И, наконец, из простого тщеславия.

«Цуда находится в особых отношениях с Ёсикавой».

Ему иногда хотелось как следует прочувствовать этот факт. И, с этой ношей за плечами, предстать перед всеми. И при этом сохранить свою обычную манеру держаться с достоинством, ни на йоту не меняя её, неся это ощущение в себе. Под влиянием того же психологического механизма, когда человек, стремясь спрятать что-то поглубже, именно эту спрятанную вещь

хочет показать другим, он теперь стоял у входа в дом Ёсикавы. И сам же истолковывал себе этот порыв так, будто пришёл сюда исключительно по делу.

Х

Тяжёлая парадная дверь была, как обычно, заперта. Цуда машинально заглянул сквозь толстую решётку. Внутри покоилась большая гранитная плита для снятия обуви. А с потолка, с самой его середины, свисал тёмный, с синеватым отливом, литой абажур. Он, ни разу доселе не ступавший сюда, намеренно миновал этот вход и свернул в сторону. И попросил доложить о себе через внутренний вход, находившийся рядом с комнатой прислуги.

— Ещё не вернулись.

Коротко ответил мальчик-прислужник в хакама из ткани курумэ, сидевший перед ним на коленях. По виду данного субъекта, казалось, он сразу решил, что посетитель сейчас уйдёт, и это немного смутило Цуду. Тот в конце концов переспросил:

— А госпожа дома?

— Госпожа дома.

По правде говоря, Цуда был в более близких отношениях с женой Ёсикавы, чем с ним самим. Уже по дороге сюда, в его голове во многом преобладало настроение повидать именно её.

— Тогда передайте, пожалуйста, госпоже.

Он попросил этого человека, не знавшего его в лицо, передать просьбу ещё раз. Тот без всякого недовольства прошёл внутрь. А когда вышел обратно, уже несколько иным, официальным тоном произнёс: «Госпожа сказала, что примет вас, пожалуйста, сюда» — и проводил его в гостиную, обставленную по-европейски.

Едва он успел сесть на стоявший там стул, как, ещё до того, как подали чай или пепельницу, появилась сама хозяйка.

— Вы сейчас с работы?

Ему пришлось снова встать с только что занятого места.

— Как поживаете?

Ответив лёгким поклоном на приветствие Цуды и усевшись, дама сразу же задала этот вопрос. Цуда слегка усмехнулся. Он не знал, что и ответить.

— С тех пор как у вас появилась жена, вы, кажется, совсем перестали к нам заходить.

В словах хозяйки не было ни намёка на сдержанность. Она просто смотрела на мужчину моложе себя. А этот посетитель для неё заочно был человеком, на которого можно смотреть свысока.

— Всё ещё наслаждаетесь?

Цуда, подобно тому как терпеливо переносят ветер, несущий пыль, смиренно молчал.

— Однако, сколько уже времени прошло, как вы поженились?

— Да, уже полгода с небольшим.

— Как быстро летит время, кажется, это было только вчера. Ну и как у вас теперь?

— Что именно?

— Отношения между супругами?

— Да ничего особенного.

— Значит, период наслаждения уже миновал? Врёте вы всё.

— Наслаждения и не было с самого начала, так что ничего не поделаешь.

— Тогда оно ещё впереди. Если не было сначала, значит, наслаждение ещё впереди.

— Спасибо, буду ждать с нетерпением.

— Кстати, а сколько вам лет?

— Уже достаточно.

— «Достаточно» не считается. Я же просто из вежливости спросила, так что отвечайте честно и просто.

- Хорошо, скажу. Мне, собственно, тридцать.
- Тогда в следующем году будет уже тридцать один?
- Если по порядку, то, наверное, так и выходит.
- А О-Нобу-сан?
- Этой двадцать три.
- В будущем году?
- Нет, в этом.

XI

Жена Ёсикавы в таком тоне часто подшучивала над Цудой. А когда была в хорошем расположении духа — тем более. Цуда тоже иногда отвечал ей той же моентой. Однако в её манере поведения, как он замечал, часто мелькало нечто такое, что нельзя было однозначно отнести ни к шутке, ни к серьёзному разговору. Сталкиваясь с этим, Цуда, по своему въедливому характеру, часто запинался в беседе. И, если позволяли обстоятельства, пытался докопаться до сути, выяснить истинное намерение собеседницы. Когда же из-за сдержанности он не мог пойти до конца, то молча впивался взглядом в её взгляд. В его глазах тогда как неизбежное следствие всегда появлялось лёгкое облачко сомнения. Оно казалось и робостью. И осторожностью. Или же, словно оборонительный рефлекс, исходило свет гордого самосознания. И наконец, несло в себе некий оттенок, который можно было бы описать как «озабоченность, полную раздумий». Жена Ёсикавы при каждой встрече с Цудой непременно один или два раза загоняла его в такое состояние. Цуда же, сознавая это, сам того не замечая, всякий раз в него впадал.

— Вы, однако, злая.

— С чего это? То, что я спросила про ваш возраст, это разве зло?

— Не в этом дело. Просто вы спрашиваете как-то так, будто в этом есть какой-то смысл, а может, и нет, а потом нарочно не договариваете.

— Никакого продолжения и нет. Вообще-то, вы слишком любите всё анализировать, поэтому у вас и не получается. Для учёбы анализ, может, и нужен, но в общении он — вещь запретная. Если бы вы избавились от этой привычки, то стали бы мужчиной, который больше нравится окружающим людям.

Цуде стало немного больно. Но это была боль, отдававшая в груди, а не в голове. Он холодно взирал на собеседницу сверху вниз. Хозяйка же улыбнулась.

— Если не верите, вернитесь домой и спросите у своей жены. О-Нобу-сан, наверняка, со мной согласится. Да не только О-Нобу-сан. Должен быть ещё один человек. Точно должен.

Лицо Цуды внезапно окаменело. Губы его чуть дрогнули. Он, уставившись в свои колени, ничего не ответил.

— Поняли, кто это?

Она спросила, словно заглядывая ему в лицо. Он, разумеется, отлично знал, кто это. Но ни малейшего желания подтверждать слова хозяйки у него не было. Когда он снова поднял глаза, то устремил на неё молчаливый взгляд. О чём говорил этот взгляд в своём безмолвии, хозяйка не поняла.

— Если я вас задела, простите. Я не хотела.

— Нет, я вовсе не обиделся.

— Правда?

— Правда, вовсе не обиделся.

— Ну, тогда я успокоилась.

Хозяйка сразу же вернулась к прежнему лёгкому тону.

— В вас всё ещё есть что-то детское, когда вот так разговариваешь. Поэтому вы, мужчины, вроде бы и в проигрыше, а на самом деле в выигрыше. Вы, как сейчас и сказали, как раз такой. А О-Нобу-сан в этом году будет двадцать три, так что по возрасту она намного младше, но по виду она, пожалуй, даже выглядит старше вас. Сказать «старше», наверное, будет невежливо, но как бы это лучше выразить... ну...

Хозяйка, казалось, подыскивала слова, чтобы описать облик О-Нобу в присутствии Цуды. Тот с некоторым любопытством ждал.

— Ну, зрелая, что ли. Очень уж она умная, право, таких умных я редко встречала. Вы уж берегите её.

Судя по интонации хозяйки, вместо «береги её» можно было бы сказать «поосторожней с ней» — разница была бы невелика.

XII

В этот момент лампа, висевшая у них над головами, внезапно зажглась. Мальчик-прислужник, выходявший ранее, тихо проник в комнату, бесшумно опустил шторы и так же молча вышел. Цуда, который уже некоторое время наблюдал, как всё ярче разгорается газовый камин, молча проводил взглядом удаляющуюся фигуру этого человека. Он почувствовал, что пора заканчивать разговор и уходить. Цуда отодвинул в сторону ломтик лимона, холодно плававший на дне чашки с чаем, стоявшей перед ним, и допил остатки. И, словно подав этим знак, открыл хозяйке цель своего прихода. Цель, разумеется, была проста. Однако дело это было не из тех, которые можно было решить сразу, получив лишь согласие или отказ от этой дамы. Куда именно в месяце поставить те несколько дней, которые он хотел бы использовать свободно, — этого она совершенно не знала.

— Ведь всё равно, когда, если договориться, правда?

Она выказала ему своё расположение самым непринуждённым тоном.

— Конечно, я собирался договориться, но...

— Так в чём же дело? Можно и с завтрашнего дня отдыхать.

— Но сначала нужно переговорить...

— Тогда я, как вернусь, сама всё ему расскажу. Не о чем волноваться.

Хозяйка любезно согласилась. Казалось, она даже радовалась, что у неё появилось ещё одно дело, которое эта дама может сделать для другого человека. Цуде было приятно видеть перед собой эту доброжелательную, сочувствующую женщину. А осознание того, что именно его поведение и манеры стали причиной такого её настроения, делало это чувство ещё более приятным.

В каком-то смысле ему нравилось, когда эта женщина обращалась с ним как с ребёнком. Это позволяло ему улавливать ту особую близость, которая возникала между ними именно благодаря такому обращению. И если присмотреться к этой близости повнимательнее, это была особая близость, которая могла возникнуть только между мужчиной и женщиной. Если привести пример, это было нечто близкое к тому мгновенному удовольствию, которое испытываешь, когда какая-нибудь девушка в чайном домике вдруг хлопнет тебя по спине.

В то же время в нём прочно жило то «я», которое ни за что не позволило бы жене Ёсикавы или кому-либо другому обращаться с ним как с ребёнком. Он намеренно прятал это «я» и не забывал быть готовым предстать перед ней. И вот так, принимая в груди лёгкое чувство, когда она его дразнила, он всегда спиной опирался на возведённую им самим толстую и тяжёлую стену.

Когда он, закончив дела, собрался было встать со стула, хозяйка вдруг заговорила:

— Смотрите, не смейте больше плакать и стонать, как ребёнок. При вашей-то комплекции.

Цуда невольно вспомнил прошлогодние страдания.

— Тогда мне действительно было плохо. Даже открывание и закрывание сёдзи отдавалось в том месте, и каждый раз я всем телом подпрыгивал на постели. Но сейчас всё в порядке.

— Правда? Кто тебе это гарантировал? Ничего ведь толком не известно. Если будешь так хвастаться, я приду проверить.

— Это не такое место, куда вам стоит приходить с визитом. Там тесно, грязно и вообще странная комната.

— Мне всё равно.

По виду хозяйки нельзя было понять, говорит ли она серьёзно или шутит. Цуда, хотевший было сказать, что специальность врача относится к области, далёкой от его болезни, и

женщинам, наверное, лучше туда не соваться, запнулся и заколебался. Хозяйка, воспользовавшись его замешательством, наседала.

— Я приду. Мне нужно кое-что тебе сказать. То, что трудно сказать при О-Нобу-сан.

— Тогда я как-нибудь ещё зайду.

Хозяйка, смеясь, проводила поспешно вставшего Цуду из гостиной.

XIII

Выйдя на улицу, Цуда быстро зашагал прочь от дома Ёсикавы. Однако голова его не могла покинуть гостиную так же быстро, как ноги. Прогуливаясь по сравнительно безлюдной улице в вечерних сумерках, он то и дело видел перед собой яркую картину освещённой комнаты.

Ваза в технике сиппо, с холодно поблёскивающей поверхностью, яркие цвета узоров, круглый поднос с серебряным покрытием, принесённый на стол, сахарница и молочник такого же цвета, тяжёлая оконная штора с тёмно-синим фоном и коричневым арабесковым узором, декоративный альбом с золотым тиснением по углам — всё это беспорядочно мелькало перед глазами.

Разумеется, он не мог забыть и призрак женщины — главной героини, сидевшей в этом вихре красок. Шагая, он то и дело вспоминал обрывки недавнего разговора с ней. И, доходя до некоторых мест, смаковал их, пережёвывая, словно человек, положивший в рот жареные бобы.

«Эта госпожа, возможно, всё ещё хочет мне что-то рассказать о том деле. По правде говоря, я не хочу этого слушать. Но в то же время мне ужасно хочется это узнать».

Когда он признался самому себе в этом противоречии, ему стало стыдно, словно он выставил напоказ свою слабость, и Цуда покраснел, гуляя в тёмной улице. Чтобы преодолеть этот стыд, он намеренно забежал мыслями вперёд.

«Если у этой госпожи есть намерение что-то сказать мне о том деле, какова же на самом деле её цель?»

Сейчас Цуда никак не мог найти ответа на этот вопрос.

«Чтобы в очередной раз подшутить надо мной?»

Трудно было сказать. Она вообще была дамой, любившей подкалывать других. А их отношения давали ей для этого полную свободу. К тому же её положение невольно сделало её распущенной. Ради простого удовольствия, которое она могла получить, дразня его, эта женщина, вероятно, могла спокойно переступить границы приличий.

«А если не так?.. Из симпатии ко мне? Из-за того, что она ко мне слишком благоволит?»

Это тоже трудно было утверждать. До сих пор она действительно была с ним и добра, и благосклонна.

Он вышел на широкую улицу и сел там в трамвай. За стеклом окна вагона, бежавшего вдоль канала, виднелись лишь чёрная вода и чёрная дамба, да чёрные сосны, громоздившиеся на этой дамбе.

Усевшись в уголке трамвая, он на мгновение задержал взгляд на этом унылом осеннем ночном пейзаже за окном, но тут же вынужден был снова думать о другом. Ему надоело, но он оказался в положении, когда нужно было как-то решать вчерашнюю проблему с деньгами. Он снова вспомнил о жене Ёсикавы.

«Ведь ничего страшного и не произошло, если бы я сам заговорил о своих обстоятельствах пораньше».

При этой мысли ему стало жаль, что он, думая, что поступает деликатно, так рано ушёл. И в то же время у него совершенно не было смелости снова пойти к ней только по этому делу.

Сойдя с трамвая и переходя через мост, он увидел нищего, скорчившегося под тёмными перилами. Оборванец, словно движущаяся чёрная тень, поклонился ему. На самом Цуде было лёгкое пальто. Он уже видел тёплое пламя газового камина, которое для этого сезона было даже преждевременным. Но пропасть между ним и нищим сейчас не укладывалась в его сознании. Он чувствовал себя человеком, попавшим в трудное положение. Ему казалось несправедливым, что отец не прислал денег, как в предыдущие месяцы.

XIV

В том же настроении Цуда дошёл до ворот собственного дома. Едва он собрался было взяться за решётчатую дверь, как, ещё до того как та открылась, бесшумно раздвинулась бумажная перегородка. И перед ним, неизвестно откуда взявшись, возникла О-Нобу. Он, словно удивлённый, взглянул на её лицо, покрытое тонким слоем пудры.

После женитьбы жена часто поражала его такими вещами. Её поступки порой имели дурное последствие — она как бы опережала мужа, зато порой служили доказательством её большой проницательности. В повседневных мелочах она часто проявляла эту свою особенность, и Цуда смотрел на неё порой как на блеск маленького разделочного ножа, мелькающего перед глазами. Вместе с ощущением, что этот клинок хоть и мал, но хорошо заточен, возникало и чувство какой-то жути.

В первое мгновение Цуде показалось, что О-Нобу какой-то силой предугадала его возвращение. Но расспрашивать ему не захотелось. Спросить, а она, засмеявшись, уйдёт от ответа — это выглядело бы как его поражение.

И он с невозмутимым видом миновал прихожую. И сразу же переоделся. Перед жаровней в гостиной, на столике с чёрными лаковыми ножками, накрытом салфеткой, стоял приготовленный ужин, словно ожидая его возвращения.

— Вы сегодня тоже куда-то заходили?

Если Цуда не возвращался домой в определённое время, О-Нобу непременно задавала этот вопрос. И волей-неволей Цуде приходилось как-то отвечать. Но не всегда же он задерживался именно по делам, поэтому порой его ответы бывали странно уклончивы. В таких случаях Цуда старался не смотреть на слегка напудренное лицо О-Нобу.

— А давайте я угадаю?

— Хорошо..

Сегодня Цуда был совершенно спокоен.

— К Ёсикаве, правда?

— Как ты угадала?

— По вашему виду примерно понятно.

— Вот как? Хотя, в общем-то, это логично, ведь я вчера вечером сказал, что сначала поговорю с Ёсикавой, а потом уж решу, на какой день назначить операцию.

— Я бы и без этого угадала.

— Вот как? Умница.

Цуда передал О-Нобу только самую суть своей просьбы к жене Ёсикавы.

— Ну и когда же начнёшь лечение?

— Раз так, можно, наверное, и в любой день, но...

У Цуды на душе была одна забота: до начала лечения необходимо было во что бы то ни стало раздобыть денег. Сумма, конечно, была не бог весть какая. Но именно потому, что небольшая, его ещё больше раздражало, что в голову не приходило какого-нибудь простого способа её раздобыть.

Он на мгновение вспомнил о своей сестре в Канде, но идти к ней решительно не мог. Когда после его женитьбы расходы семьи возросли и ежемесячную нехватку стали восполнять присылками от отца из Киото, одним из условий было, что часть этой суммы будет возвращаться из бонусов, получаемых два раза в год. Этим летом, по разным причинам, он этого условия не выполнил, и отец уже был недоволен. Сестра, зная об этом, в общем-то скорее сочувствовала отцу, чем брату. Цуда и раньше, учитывая положение мужа сестры, считал для себя зазорным поднимать перед ней денежные вопросы, а теперь, из-за этих обстоятельств, тем более окостенел. Он решил, что если уж совсем не будет выхода, то придётся, как совето-

вала О-Нобу, ещё раз написать отцу и изложить ему свои обстоятельства. Он также подумал, что, пожалуй, будет разумно немного приукрасить теперешнюю болезнь, представить её куда серьёзнее. Приукрасить действительность в такой степени, чтобы не слишком тревожить родителей, — это было доступно каждому без особых угрызений совести.

— О-Нобу, пожалуй, я, как ты вчера и говорила, ещё раз напишу папе.

— Вот как? Но...

О-Нобу сказала «но» и посмотрела на Цуду. Тот, не обращая на это внимания, поднялся на второй этаж и сел за стол.

XV

Привыкший пользоваться западной почтовой бумагой, он выдвинул ящик стола, достал лист и конверт цвета лаванды и, машинально настрочив два-три строчки перьевой ручкой, вдруг опомнился. Его отец вообще-то не слишком любил получать от сына письма, небрежно нацарапанные пером или ручкой, в разговорном стиле. Цуда, живо представив перед глазами лицо отца, находившегося далеко, горько усмехнулся и отложил ручку. Вслед за этим возникла мысль, что, сколько ни пиши, толку всё равно не будет. Он принялся машинально рисовать на остатке шероховатой плотной бумаги узкое лицо родителя с козлиной бородкой, раздумывая, что же делать.

Вскоре он решился и встал. Открыв сёдзи, Цуда вышел на площадку лестницы и крикнул оттуда вниз жене:

— О-Нобу, у тебя нет японской почтовой бумаги в рулоне и конвертов? Если есть, одолжи на минутку.

— Японской?

Это прилагательное показалось жене странно комичным.

— Женская есть.

Цуда развернул перед собой изящную бумагу с узором.

— Такая подойдёт?

— Если ты напишешь так, чтобы было понятно, какая разница, на чём писать?

— Так не пойдёт. Отец, знаешь ли, очень требовательный.

Цуда с серьёзным лицом продолжал разглядывать бумагу. В уголках губ О-Нобу мелькнула лёгкая усмешка.

— Может, послать Токи купить?

— Ну....

Цуда ответил неопределённо. Ведь даже если бы у него была белая бумага в рулоне и простые конверты, это вовсе не гарантировало успеха его просьбы.

— Подожди, это быстро.

О-Нобу тут же спустилась вниз. Вскоре послышался звук открываемой калитки и шаги служанки, вышедшей на улицу. Цуда в ожидании ничего не делал, просто сидел за столом и курил.

Мысли его, естественно, не могли оторваться от отца. Его папа, родившийся и выросший в Токио, был настоящим эдokka и посему имел привычку, чуть что, ругать Кансай, но в то же время когда-то давно осел в Киото с намерением жить там постоянно. Когда Цуда, сочувствуя матери, не слишком любившей те места, выказал некоторое несогласие, отец показал ему купленную им землю и построенный им дом и спросил: «А это как прикажешь?» Тогда ещё более молодой Цуда даже не совсем понял смысл отцовских слов. Он подумал: «Да с этим-то что хочешь, то и делай». Родитель часто твердил ему: «Я не для себя стараюсь, всё для тебя». Говорил и так: «Сейчас ты, может, и не понимаешь, как тебе повезло, но вот помру — поймёшь, обязательно придёт время всё понять». Он мысленно воспроизвёл слова отца и выражение его лица, когда он их произносил. Этот вид, исполненный уверенности, словно тот единолично взял на себя ответственность за будущее счастье сына, казался ему похожим на неприступного пророка. Ему захотелось сказать отцу, которого он видел мысленным взором:

«Не знаю, насколько легче было бы понимать, как мне с вами повезло, понемногу каждый месяц, пока вы живы, чем осознать это всё разом после вашей смерти».

Около десяти минут спустя он, стараясь не испортить настроение отцу, вывел на бумаге как можно более убедительные фразы о необходимости прислать денег в архаичном эпистолярном стиле. С трудом, с чувством неловкости, кое-как дописав, он, перечитав написанное, при-

шёл в совершенное отчаяние от своего убогого почерка. Ему показалось, что с таким почерком у него нет никаких шансов на успех, даже не говоря о содержании сообщения. А под конец он почувствовал, что деньги, даже если дело выгорит, никак не успеют к нужному сроку. Отдав служанке письмо для отправки, он, молча забираясь в постель, подумал про себя: «Будь что будет».

XVI

На следующий день после обеда Цуду вызвали к Ёсикаве.

— Ты вчера, говорят, заходил ко мне домой?

— Да, не застал вас, к сожалению, и имел честь видеть вашу супругу.

— Говорят, ты опять болеешь?

— Да, немного...

— Плохо дело. Так часто болеть нельзя.

— Да это, собственно, продолжение того же.

Ёсикава, слегка удивлённый, вынул изо рта зубочистку, которой пользовался после еды. Затем полез во внутренний карман, доставая портсигар. Цуда тут же чиркнул спичкой, лежавшей в пепельнице. Спеша проявить услужливость, он поторопился, и первая спичка, не загоревшись как следует, сразу погасла. Он поспешно чиркнул второй и бережно поднёс её к самому носу Ёсикавы.

— Что ж, болезнь — дело такое, ничего не поделаешь. Отдохни, хорошенько полечись.

Цуда поблагодарил и собрался выйти. Ёсикава спросил сквозь клубы дыма:

— Сасаки-то ты предупредил?

— Да, я говорил и с господином Сасаки, и с другими, договорились, чтобы подменили. Сасаки был его непосредственным начальником.

— Раз уж брать отпуск, то лучше пораньше. Поскорее полечишься, поправишься — и надо будет работать не покладая рук.

Слова Ёсикавы хорошо отражали его характер.

— Если тебе удобно, можешь и с завтрашнего дня.

— Слушаюсь.

Сказанное в подобном тоне заставило Цуду почувствовать, что он, хочешь не хочешь, должен с завтрашнего дня лечь в больницу.

Когда он уже наполовину высунулся за дверь, его снова окликнули.

— Эй, слушай, как там твой отец поживает? Всё так же здоров?

Цуда обернулся, и его ноздрей коснулся приятный запах сигары.

— Да, благодарю вас, слава богу, здоров.

— Небось стихи пописывает, прохлаждается? Хорошо ему, беззаботно. Вчера вечером встретились мы кое-где с Окамото, говорили о твоём отце. Окамото тоже ему завидует. Этот парень хоть и стал в последнее время посвободнее, а всё ж ему не до такой жизни, как твоему папке.

Цуда вовсе не полагал, что его отцу можно завидовать. Он подумал, что если бы нашёлся кто-то, кто захотел бы поменять своё положение на образ жизни его отца, они бы, горько усмехнувшись, попросили оставить их в покое хотя бы ещё лет на десять. Это было, конечно, лишь его наблюдение, исходившее из его собственного характера. В то же время это было и его наблюдение, исходившее из характера этих людей.

— Отец уже отстал от времени, ему ничего не остаётся, как существовать вот так.

Цуда сам не заметил, как снова оказался в комнате и стоял на прежнем месте.

— Да какое там отстал! Наоборот, он опередил время, потому и может вести такую жизнь.

Цуда не нашёлся с ответом. Рядом с красноречием собеседника его собственное косноязычие было для него обузой. Чувствуя некоторую неловкость, он смотрел на медленно тающий сизый дым сигары.

— Не тревожь папку-то. Про твои дела мне всё известно. Если что не так, я сам ему сообщу. Понял?

Цуда, горько усмехнувшись, выслушал эти слова, в которых трудно было отличить шутку от наставления, словно обращённые к ребёнку, и наконец выскользнул из комнаты.

XVII

В тот же день, возвращаясь домой, Цуда сошёл с трамвая по дороге и, пройдя немного от остановки по оживлённой улице, свернул в переулок. Поглядывая то на вывески ломбарда с тростниковыми шторами, то на вывески клубов игроков в го, то на решётчатые двери, похожие на вход в дом главы пожарной дружины, он шёл по извилистому переулку и, дойдя до середины, толкнул снаружи дверь с матовыми стёклами и вошёл внутрь. Когда резко зазвенел электрический звонок, прикрепленный в верхней части двери, он попал под перекрёстный взгляд четырёх-пяти человек, вышедших из узкой комнаты в конце прихожей. Эта комната без окон была не только узка, но и действительно темна. Посетителю с улицы она показалась настоящей норой. Он, ёжась, опустился на краешек длинной скамьи и оглядел людей, которые только что, сверкая глазами из темноты, смотрели на него. Большинство из них сидело вокруг большой фаянсовой жаровни, выставленной посреди комнаты. Двое из них — скрестив руки, двое — прикрыв одну рукой край жаровни, один, сидевший поодаль, уткнувшись лицом в разбросанные там газеты, словно облизывая их, и ещё один, сидевший на противоположном конце той же длинной скамьи, слегка повернувшись боком и положив ногу на ногу.

Когда зазвонил звонок, они, словно по уговору, повернулись к двери, и после одного взгляда снова, словно по уговору, затихли. Все молча сидели с таким видом, будто о чём-то глубоко задумались. Их поведение казалось не столько невниманием к присутствию Цуды, сколько, наоборот, желанием избежать его внимания. Похоже было, что они нарочно отводят глаза в сторону, боясь взаимного неудобства быть замеченными друг другом.

У этих мрачных людей почти без исключения было похожее прошлое. Ожидая здесь, в тёмной приёмной, своей очереди, они вдруг оказывались во власти ярко раскрашенных обрывков этого прошлого, бросавших на них чёрную тень. И, не имея мужества взглянуть на свет, словно застывали в этой тени, замыкаясь в себе.

Цуда положил руку на подлокотник скамьи и прижал ладонь ко лбу. В этой позе, словно в безмолвной молитве Богу, он думал о двух мужчинах, которых неожиданно встретил в доме этого врача с прошлой зимы.

Один из них был, по сути, не кто иной, как муж его сестры. Когда Цуда внезапно узнал его в этой тёмной комнате, он поразился. Другой, довольно равнодушный к таким вещам, тоже, кажется, слегка растерялся от приветствия, отражавшего удивление Цуды.

Этим другим был его приятель. И он, решив, что у Цуды такая же болезнь, как у него самого, спокойно и сам заговорил с ним. Они тогда вдвоём вышли из клиники и за ужином вели серьёзный разговор на о поле и любви.

Случай с мужем сестры прошёл как минутное удивление и не имел особых последствий, но между Цудой и его приятелем, с которым, казалось, ничего не должно было быть впереди, после этой встречи возникли необычные последствия.

Цуда, которому пришлось связать воедино тогдашние слова знакомого и его теперешнее положение, вдруг, открыл глаза и отнял руку от лба.

В это время из кабинета вышел мужчина лет тридцати в тёмно-синем костюме и сразу направился к окошку аптеки. Когда он достал из кармана портмоне, чтобы расплатиться, на пороге появилась медсестра. Цуда, который был с ней знаком, окликнул её, когда она, назвав фамилию следующего пациента, собралась возвращаться было в кабинет.

— Мне надоело ждать очереди, спросите, пожалуйста, у доктора: могу я прийти завтра или послезавтра на операцию?

Медсестра, уйдя внутрь, тотчас же снова появилась в дверях тёмной комнаты в своём белом халате.

— Как раз сейчас на втором этаже есть свободная комната, так что приходите, когда вам будет удобно.

Цуда, словно спасаясь, выскользнул из тёмного помещения. Когда он, поспешно надев ботинки, потянул на себя большую дверь с матовыми стёклами, в приёмной, ещё минуту назад казавшейся совершенно тёмной, внезапно зажглась электрическая лампа.

XVIII

Вернулся Цуда домой чуть раньше, чем вчера, но осенний день, когда темнеет намного быстрее, уже давно перевалил за половину, и было как раз то время, когда холодноватый остаточный свет, ещё недавно державшийся только на улице, вдруг исчезал, словно его разом смахнули с земли.

На втором этаже у него, конечно, огня не было. И в прихожей было совершенно темно. Глаза Цуды, только что ясно видевшие фонарь у входа в извозничью будку на углу, немного разочаровались. Он с шумом отодвинул решётчатую дверь. Но О-Нобу и тут не вышла. Когда вчера в это время она, словно подкараулив его, застала врасплох своего супруга, ему было не слишком приятно, но сейчас, когда он стоял в тёмной прихожей, где его никто не встречал, где-то в глубине души чувствовал, что вчерашний вариант был всё же лучше. Он, стоя, позвал: «О-Нобу! О-Нобу!» И тут, неожиданно, с верхнего этажа раздалось: «Да!» Затем послышались её шаги на лестнице. В то же время из кухни выбежала служанка.

— Что ты там делала?

В голосе Цуды слышалось некоторое недовольство. О-Нобу ничего не ответила. Но когда он взглянул на её лицо, то не мог не заметить, что она, как обычно, пыталась привлечь его к себе своей молчаливой улыбкой. Белые зубы первыми привлекли его взгляд.

— На втором этаже ведь темно?

— Да. Я что-то задумалась и не заметила твоего прихода.

— Ты спала.

— Ну что ты!

Служанка громко расхохоталась, и их разговор на том и прервался.

Когда Цуда собрался идти в баню, О-Нобу, сказав: «Подожди минутку», — задержала мужа, который, взяв из её рук, как обычно, мыло и полотенце, хотел отойти от жаровни. Она повернулась к комоду и, достав из самого нижнего ящика стёганое кимоно из узорчатого шёлка на фланели, положила его перед мужем.

— Примерь-ка. Может, оно ещё не совсем разгладилось.

Цуда с озадаченным видом уставился на стёганое кимоно в крупную вертикальную полоску с воротником из чёрной ткани хатидзё (традиционная японская шелковая ткань ручной работы, происходящая с вулканического острова Хатидзёдзима — прим. ред). Это была не его покупка и не вещь, которую он заказывал.

— Что это?

— Я сшила. В том случае, если ты ляжешь в больницу. В таком месте неудобно быть в чём попало.

— Когда же ты успела?

О том, что из-за операции ему придётся примерно на неделю оставить дом, и о причине этого он рассказал О-Нобу всего два-три дня назад. К тому же с того дня и до сегодня он ни разу не видел жену сидящей с иглой за портновским столиком. И не мог не удивиться. О-Нобу смотрела на это его удивление как на награду за свой труд. И нарочно ничего не объясняла.

— Ты купила ткань?

— Нет, это моё старое. Думала надеть этой зимой, так и оставила после стирки, не сшив.

В самом деле, узор, как для молодой женщины, был не только крупноват, но и расцветка, прямо скажем, была чересчур яркой. Цуда, просунув руки в рукава, оглядел себя — вид у него был как у пёстрого воздушного змея, — и, чувствуя себя немного неловко, сказал О-Нобу:

— Я договорился: операцию проведут или завтра, или послезавтра.

— Вот как? А я что буду делать?

— Ты — ничего.

— Мне нельзя пойти с вами? В больницу?

Похоже было, что О-Нобу вовсе не беспокоят денежные вопросы.

XIX

На следующее утро Цуда проснулся гораздо позже обычного. В доме было чисто и тихо, словно после уборки. Выйдя из комнаты, пройдя через прихожую и открыв сёдзи в гостиную, он увидел жену, чинно сидящую у жаровни с газетой в руках. Чайник мирно кипел, словно олицетворяя собой спокойствие домашнего очага.

— Когда спишь без забот, даже не желая того, просыпаешься поздно, — сказал он, словно оправдываясь, и взглянул на часы, висевшие над календарём. Стрелки показывали уже почти десять.

Умывшись и вернувшись в гостиную, хозяин дома машинально сел перед своим обычным чёрным лакированным столиком. Цуда хотел было снять салфетку, покрывавшую столик, как вдруг опомнился.

— Этого нельзя!

Он вспомнил, что врач когда-то говорил ему о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать накануне операции. Но сейчас он точно этого не помнил. Он вдруг сказал жене:

— Сейчас узнаю.

— Прямо сейчас?

О-Нобу удивлённо посмотрела на мужа.

— Да, по телефону. Пустяки.

Он встал, словно желая собственноручно разогнать тихую атмосферу гостиной, и, выйдя через прихожую на улицу, побежал к автомату, находившемуся примерно в ста метрах справа по трамвайной линии. Вернувшись оттуда быстрым шагом, он, стоя в прихожей, позвал жену.

— Принеси-ка мне портмоне со второго этажа. Можно и твой кошелёк.

— Зачем вам?

О-Нобу совершенно не понимала, что мужу нужно.

— Всё равно что, давай скорее.

Сунув полученный от О-Нобу кошелёк за пазуху, он снова направился к главной улице. И сел в трамвай.

Вернулся он с довольно большим бумажным свёртком под мышкой минут через тридцать-сорок, когда уже близился полдень.

— В твоём кошельке оказалось маловато. Я думал, там побольше.

С этими словами Цуда бросил свёрток, который держал под мышкой, на татами в гостиной.

— Не хватило?

О-Нобу смотрела на мужа взглядом, который говорил, что она не может не беспокоиться о мелочах.

— Да нет, не то чтобы не хватило...

— Но я же совсем не знала, что вы собираетесь купить. Думала, может, в парикмахерскую...

Цуда вспомнил о своей голове, которую не стригли уже больше двух месяцев. Он вспомнил даже свежее ощущение, испытанное только вчера утром: когда он не стриётся долго, его и без того маленькая шляпа, кажется, с каждым разом надевается всё туже.

— И потом, вы так спешили, что я не успела сходить наверх.

— Да у меня и в портмоне было не бог весть сколько, так что, в общем-то, разница невелика.

Он не мог всё время только ругать её кошелёк.

О-Нобу быстро развернула бумагу и вынула оттуда банку с чаем, хлеб и масло.

— Ах, вот оно что! Вы это кушаете. Тогда могли бы и служанку послать.

— Да она ничего не понимает. Ещё неизвестно, что бы купила.

Вскоре руками О-Нобу были приготовлены вкусно пахнущие тосты и дымящийся улун.

Покончив с этой крайне простой европейской трапезой, которую нельзя было назвать ни завтраком, ни обедом, Цуда пробормотал как бы про себя:

— Сегодня утром я думал сходить к дяде Фудзии, сообщить о болезни заодно и проведать, ведь давно не был, — да вот опоздал.

Он имел в виду, что делать нечего, и надо будет исполнить эту обязанность после обеда.

XX

Фудзии был младшим братом отца Цуды. Его родитель, вынужденный вести жизнь простого чиновника, и ему приходилось постоянно переезжать с места на место — три года в Хиросиме, два в Нагасаки. Изрядно поломав голову над неудобствами и вредом для образования сына, которого пришлось бы таскать за собой по всем назначениям, словно паломника по святым местам, отец довольно рано решил доверить своего отпрыска младшему брату и возложить на него все заботы. Поэтому Цуда, можно сказать, вырос на руках у своего дяди. Следовательно, их отношения выходили за рамки обычных отношений дяди и племянника. Если не брать в расчёт разницу в характерах и роде занятий, они были скорее не дядей и племянником, а родителем и сыном. Если можно употребить выражение «второй отец», то оно наиболее точно описывало бы их отношения.

В отличие от родного отца Цуды, этот дядя никогда не покидал Токио. По сравнению с родителем, который полжизни провёл в постоянных переездах, уже одно это составляло огромную разницу. По крайней мере, так это выглядело в глазах Цуды.

«Медлительный странник по жизни».

Такая фраза была среди слов, которыми дядя когда-то характеризовал своего старшего брата. Невзначай услышавший это Цуда сразу же решил, что его отец именно такой человек. И до сего дня не забывал. Но смысл фразы, употреблённой дядей, был ему так же непонятен сейчас, как и в то время, когда его ум ещё не развился. Только каждый раз, видя папу, он вспоминал эти слова. Худощавое, с редкой плотью лицо с жидкой, как у гадалки, бородкой под узким подбородком и эти слова дяди означали для него почти одно и то же.

Около десяти лет назад его отец внезапно, словно уставший от бесконечного паломничества, ушёл с государственной службы. И занялся бизнесом. Последние восемь лет он провёл в Кобэ, а потом, построив новый дом на земле, купленной им в Киото, два года назад наконец перебрался туда. Незаметно для Цуды этот тихий старый город стал для его родителя местом уединения и одновременно местом последнего упокоения. Тогда дядя, наморщив нос, лишь бросил Цуде:

— Видно, братец всё же денег скопил. То, что этот воздушный шарик наконец утонул, — несомненно, благодаря весу монет в кошельке.

Но сам он, на которого вес денег так и не лег, с самого начала оставался на месте. Он всегда жил в Токио и всегда бедствовал. Он был человеком, который никогда в жизни не получал жалованья. Вернее будет сказать, что он не столько не любил жалованья, сколько был настолько своеволен, что ему его никто и не платил. Он всегда был противником всякой регламентации и, даже постарев и немного изменив свои взгляды, всё равно упрямо гнул свою линию. Это было и потому, что он хорошо понимал: менять свои принципы сейчас — значит только вызвать презрение у окружающих, а это не принесёт никакой выгоды.

Этот дядя, не имевший опыта работы, связанной с непосредственным столкновением с суровой действительностью простой жизни, с одной стороны, неизбежно должен был быть недалёким критиком современного быта, а с другой — чрезвычайно острым наблюдателем. И все его качества проистекали из его недалёкости. Иными словами, именно благодаря своей недалёкости он подчас произносил и делал парадоксальные вещи.

Познания его были обширны, но беспорядочны. Поэтому он любил совать нос во многие вопросы. Но до конца он никогда не мог отойти от позиции наблюдателя. Это было вызвано не только его положением, но и тем, что сама его природа удерживала его в этой роли. У него была голова. Но у него не было рук. Или, если руки и были, он не хотел ими пользоваться. Он всё время предпочитал держать руки в карманах. Родившись одновременно и учёным, и

лентям, он был в конце концов всего лишь человеком, которому суждено было зарабатывать на жизнь типографским шрифтом.

XXI

Такую жизнь, обычную для подобных людей, на задворках общества, Фудзии вёл последние шесть-семь лет в уголке на возвышенности в северо-западной части города. Когда ему казалось, что большие и малые дома, которые год от года всё прибавлялись там и сям на этой возвышенности, ещё недавно почти пригороде, год от года отнимают у него голубизну неба, он, останавливая руку, держащую перо, часто думал о своём старшем брате. Порой у него возникало желание занять у брата денег и самому построить себе дом. Но брат вряд ли дал бы займы. Да и сам он, когда доходило до дела, был не из тех, кто берёт в долг. Назвав своего ближайшего родственника «медлительным странником по жизни», он, по правде говоря, и сам был странником по жизни, материально неустроенным. И, как это часто бывает со многими людьми, материальная неустроенность для него была лишь до некоторой степени неустроенностью духовной.

Чтобы добраться от дома Цуды до этого дяди, удобно было бы половину пути проехать на трамвае, идущем вдоль реки. Но так как пешком можно было дойти меньше чем за час, такое близкое расстояние, напротив, позволяло прогуляться, не прибегая к помощи шумного транспорта.

Цуда вышел из дома около часа дня и, не спеша, побрёл вдоль реки, приближаясь к конечной остановке. Небо было высоко. Солнечный свет заливал всё вокруг. Цвет густой листвы, покрывавшей возвышенность на той стороне, выступал рельефно и чётко.

По дороге он вспомнил о слабительном, которое забыл купить утром. Врач велел ему принять его сегодня около четырёх часов дня, поэтому ему нужно было завернуть в аптеку и раздобыть его. Как обычно, у конечной остановки он собирался свернуть направо и, не переходя мост, пойти в противоположную сторону, в шумный торговый квартал. Но тут увидел, что, видимо, в связи с планами по продлению трамвайных путей, часть дороги, по которой он собирался идти, была самым бесцеремонным образом перекопана: перерезана по диагонали. Цуда остановился на углу новой, сплошь в рытвинах и ухабах дороги, где безжалостно снесли, словно вырвав с корнем, старые дома, и посмотрел на кучку людей, сбившихся в сторонке. Толпа, хоть и жидкая, но толщиной в три-пять рядов, образовывала полукруг вокруг мужчины примерно его лет, стоявшего в центре.

Этот немного полноватый субъект был в хлопчатобумажном хаори в полоску, подпоясан простым угловатым поясом, в деревянных гэта, голова его не была покрыта ни шляпой, ни плетёной шляпой. Стоя спиной к одинокой иве, оставшейся позади него, он держал обеими руками большой мешок на хлопчатобумажной фланелевой подкладке и оглядывал зрителей.

— Сейчас, господа, я достану из этого мешка яйцо. Из этого пустого мешка я непременно покажу вам яйцо. Только не удивляйтесь, секрет у меня в кармане.

Он говорил это довольно развязным тоном, даже несколько неподобающим для человека такого рода. Затем он сжал одну руку в кулак на уровне груди и, словно бросая, разжал этот кулак прямо над мешком. «Вот, я бросил яйцо в мешок», — произнес он. Когда он засунул руку в мешок, яйцо уже было там. Зажав его между большим и указательным пальцем, фокусник дал зрителям, стоявшим полукругом, хорошенько рассмотреть его, а затем положил на землю.

Цуда, с выражением лица, в котором смешались презрение и восхищение, слегка склонил голову на бок. Тут он вдруг почувствовал, что кто-то тычет его сзади в поясницу. Получив лёгкий толчок, почти рефлекторно обернулся. И увидел стоявшего там и улыбавшегося, словно озорной мальчишка, сына дяди. Фуражка с кокардой, полуевропейские брюки, ранец за спиной — всё это достаточно красноречиво говорило о том, откуда тот шёл.

— Только что из школы?

— Угу.

Мальчик не ответил ни «да», ни «ага».

XXII

— А где же твой отец?

— Не знаю.

— Всё так же?

— А кто его знает.

Цуда, совершенно забывший, каково это — быть десятилетним ребёнком, немного удивился такому ответу. Горько усмехнувшись и осознав это, он замолчал. Мальчик же снова целиком сосредоточил своё внимание на фокусах. Мужчина, судя по одежде, похожий на заезжего гастролёра, напрягая голос, громко заговорил:

— А сейчас, господа, я покажу вам ещё одно, смотрите!

Он одной рукой сильно встряхнул свой мешок, ловко сделал вид, будто снова что-то туда бросает, и торжественно извлёк со дна второе яйцо. Видимо, ему этого показалось мало, на этот раз он вывернул мешок наизнанку, без стеснения демонстрируя толпе его грязноватый фланелевый рисунок в полоску. Однако третье яйцо было извлечено с той же лёгкостью и теми же ловкими движениями. В заключение данный субъект, словно обращаясь с драгоценностями, бережно выложил их рядом на землю.

— Ну как, господа? Вот так, если захотеть, можно достать сколько угодно. Но доставать одни яйца скучно, так что сейчас я покажу вам живого петуха!

Цуда обернулся к сыну дяди.

— Эй, Макото, пойдём. Дядя сейчас как раз к вам домой идёт.

Для Макото живой петух был важнее, чем для Цуды.

— Дядя, иди вперёд. Я ещё посмотрю.

— Это же обман. Сколько ни жди, живого петуха он никогда не покажет.

— Почему? Яйца-то он вон сколько достал!

— Яйца он достал, а петуха не достанет. Он так говорит, чтобы народ не расходился, обманывает.

— А потом что?

А что «потом» — этого Цуда и сам совершенно не понимал. Ему надоело, и он хотел было идти дальше, бросив Макото. Но тот ухватил его за рукав.

— Дядя, купи что-нибудь!

Цуда имел обыкновение каждый раз, когда дома его упрашивали купить что-то, отделываться обещаниями «в следующий раз», а когда этот следующий раз наступал, неизменно забывал. Поэтому он, как всегда, произнес:

— Ладно, куплю.

— Тогда автомобиль, ладно?

— Автомобиль — это, пожалуй, дороговато.

— Да нет, маленький. За семь пятьдесят.

Даже за семь пятьдесят было для Цуды чересчур. Он пошёл, ничего не ответив.

— Но ведь ты и в прошлый раз, и в позапрошлый обещал купить! Ты, дядя, куда больший обманщик, чем тот, кто яйца достаёт!

— А тот яйца-то достаёт, а петуха ни за что не покажет.

— Почему?

— Почему, почему... Не может, и всё.

— Значит, и ты, дядя, не можешь купить автомобиль?

— Да... Ну, вроде того. Поэтому я тебе что-нибудь другое куплю.

— Тогда ботинки «Кид»!

Обезоруженный Цуда, прежде чем ответить, молча прошёл ещё несколько шагов. Он опустил глаза и посмотрел на ноги Макото. Ботинки, не слишком потрёпанные на вид, были какого-то странного цвета — не то коричневого, не то чёрного.

— Они были красные, папа дома покрасил их.

Цуда рассмеялся. Сам факт того, что Фудзии покрасил детские красные ботинки в чёрный цвет, показался ему почему-то весьма забавным. Когда он услышал объяснение, что красные ботинки, купленные по незнанию школьных правил, были перекрашены в чёрный по правилам, ему снова захотелось иронически оценить эту уловку дяди. И он с любопытством, с выражением лица, словно его щекотали, уставился на плоды этой уловки.

XXIII

— Макото, у тебя отличные ботинки.

— Но таких ботинок, как у меня, ни у кого нет.

— Цвет не важен. Не каждому выпадает счастье носить ботинки, которые покрасил собственный отец. Ты должен быть благодарен ему и беречь их.

— Но все дразнятся, говорят, что это из шкуры дворняжки. Из шкуры дворняжки!

Соединение слов «дядя Фудзии» и «шкура дворняжки» давало новый забавный результат. Однако этот комизм, вызывая лёгкую грусть, прошёл мимо сердца Цуды.

— Это не дворняжка, я тебе ручаюсь. Никакая не дворняжка, а отличная...

Цуда запнулся, не зная, что сказать дальше. Но Макото был не из тех, кого можно удовлетворить такой неопределённостью.

— Отличная что?

— Отличные... ботинки.

Цуда подумал, что, если бы его средства позволяли, он с удовольствием купил бы Макото желанные шнурованные ботинки «Кид». Ему казалось, что это стало бы хоть малой частью его благодарности дяде. Он мысленно прикинул содержимое своего портмоне. Но сейчас у него почти не было возможности изыскать такую сумму. Он подумал, что, если бы пришёл перевод из Киото, но, прежде чем станет известно, придёт тот или нет, проявлять такое усердие ценой лишений не стоит — подсказывал ему житейский опыт.

— Макото, если тебе так уж хочется «Кид», приходи в следующий раз к нам домой, и тётя тебе купит. А сегодня, поскольку дядя беден, довольствуйся чем-нибудь подешевле.

Он, то ли уговаривая, то ли успокаивая, взял Макото за руку, и они медленно побрели по широкой улице. Эта улица, примыкавшая к конечной остановке, благодаря тому, что её постоянно утаптывали бесчисленные пассажиры, садящиеся и сходящие с трамвая, за последние четыре-пять лет чудесно преобразилась и выглядела вполне прилично. Кое-где в витринах были красиво выставлены товары, которые не стоило с ходу сбрасывать со счетов только потому, что это задворки. Макото то перебегал на другую сторону и останавливался перед ларьком корейца, торгующего сладостями, то возвращался обратно и замирал под навесом лавки с золотыми рыбками. Когда он бегал, в его кармане обязательно гремели шарики для игры в битки.

— Сегодня в школе я вон сколько выиграл!

Он засунул руку в карман и, достав полную горсть этих шариков, показал ему. Когда голубые, фиолетовые стеклянные шарики, сверкая, покатались на середину улицы, он в панике бросился их собирать. И, оглядываясь, крикнул Цуде:

— Дядя, тоже подбирай!

В конце концов, ради этого непоседливого ребенка, затащившего его в игрушечную лавку, Цуда вынужден был купить ему пневматическое ружьё за одну иену пятьдесят сэн.

— Если воробьёв, то ладно, но в людей ни в коем случае не целься.

— Из такого дешёвого ружья воробья не подстрелишь.

— Это потому, что ты не умеешь. Если не умеешь, то из самого лучшего ружья не сможешь.

— Тогда, дядя, ты мне подстрели воробья этим ружьём? Прямо сейчас, пойдём к вам домой.

Похоже было, что, стоит ему сказать что-то неопределённое, как его тут же заставят доказывать слово делом, поэтому Цуда, ответив что-то невразумительное, перевёл разговор на другую тему. Макото принялся перечислять имена своих друзей — Тода, Сибуя, Сакагути, — которых собеседник и не знал, и критиковать их одного за другим.

— Вот этот парень, Окамото, он хитрый. Ему купили целых три пары ботинок.

Разговор снова вернулся к обуви. Цуда мысленно сравнил этого мальчика Окамото, который был тесно связан с О-Нобу, с Макото, который сейчас перед ним критиковал того.

XXIV

— Ты в последнее время ходишь играть к Окамото?

— Нет, не хожу.

— Опять поссорились?

— Нет, вовсе нет.

— Тогда почему не ходишь?

— Просто так...

Похоже было, что слова Макото имеют продолжение. Цуде захотелось всё узнать.

— Они, наверное, много всяких вещей тебе дают?

— Нет, не так уж много дают.

— Ну, угощают же?

— В прошлый раз я у Окамото поел рисового карри, так оно было ужасно острое!

То, что карри было острым, вряд ли могло служить причиной не посещать Окамото.

— Неужели поэтому тебе расхотелось ходить к ним в гости?

— Нет. Но отец говорит, чтобы я не посещал их. А я бы хотел пойти к Окамото покачаться на качелях.

Цуда склонил голову набок. Он задумался, почему дядя не хочет пускать ребёнка к Окамото. Разница в положении, разница в укладе дома, разница в образе жизни — всё это сразу пришло ему на ум. Дядя, который всё время, сидя за столом, в молчании распространял по миру типографский дух, в реальной жизни отнюдь не был влиятельной фигурой. Он смутно сознавал эту дистанцию. Это сознание делало его несколько упрямым. И в какой-то степени даже непримиримым. Выходя в общество, основанное на деньгах и власти, он боялся, что его сочтут ничтожеством, и в то же время в нём постоянно, казалось, действовало опасение, как бы эта самая власть денег ни на йоту не ущемила его собственную сущность.

— Макото, а ты почему не спросил у отца: почему нельзя ходить к Окамото?

— Я спрашивал.

— И что же он сказал?.. Наверное, ничего?

— Нет, ответил.

— И что, интересно?

Макото немного застеснялся. Помолчав, мальчик пробубнил, с трудом выговаривая слова, словно делая паузы:

— Ну... если ходить к Окамото... то, когда придёшь домой... начинаешь просить купить всё, что есть у Хадзимэ-сана... «купи, купи», вот поэтому и нельзя, говорит.

Цуда наконец понял. Некоторая разница в уровне благосостояния этих двух семей неизбежно должна была порождать разницу даже в тех игрушках, которые были у их детей.

— Вот ты и кланчишь то автомобиль, то ботинки «Кид», всё время дорогие вещи. Небось всё это увидел у Хадзимэ-сана?

Цуда, наполовину в шутку, поднял руку, чтобы хлопнуть Макото по спине. На лице Макото появилось выражение, близкое к выражению взрослого, у которого вывели неловкую тайну. Однако, в отличие от взрослого, он не стал оправдываться.

— Врёшь! Врёшь!

Он, взвалив на плечо только что купленное Цудой за одну иену пятьдесят сэн пневматическое ружьё, со всех ног бросился бежать к своему дому. Стекланные шарики в его кармане звенели, словно чётки, которые сильно трутся друг о друга. А в ранце слышался стук — то ли коробки с завтраком, то ли учебников — друг о друга: гого-гого.

У поворота, у чёрной дощатой ограды, тот на мгновение остановился и, по-лиси оглянувшись на Цуду, тотчас же скрыл свою маленькую фигурку в переулке. Когда Цуда, пройдя

этот переулок до конца, входил в ворота дома Фудзии, в каких-нибудь двух метрах перед ним внезапно грохнул выстрел. Он с горькой усмешкой узнал чёрную фигурку Макото, который с важным видом целился в него из живой изгороди справа.

XXV

Услышав из комнаты голос дяди, с кем-то беседующего, Цуда, нарочно не стал открывать парадную дверь, а обошёл дом со стороны веранды, выходящей в гостиную. В этом саду, похоже, раньше был питомник, и здесь не было ни калитки для острстки, ни бамбуковой ограды, отделяющей участок, поэтому, обойдя чёрный ход недавно пристроенного рядом сдаваемого дома, можно было подойти прямо к краю веранды. Пройдя мимо двух-трёх высоких кустов чая, которые были маловаты для живой изгороди, и нырнув под хурму, навсегда оставшуюся в его памяти, Цуда, как обычно, увидел там тётю. Когда в его поле зрения попал её профиль, отражавшийся в застеклённой части сёдзи, Цуда окликнул её снаружи.

— Тётя!

Та сразу же открыла сёдзи.

— Ты сегодня по какому делу?

Не произнеся ни слова благодарности за купленное для её ребёнка ружьё, она уставилась на Цуду удивлёнными глазами. В манерах этой женщины, которой уже перевалило за сорок три-четыре, почти не было любезности. Зато порой, смотря по времени и обстоятельствам, в ней проявлялась естественность, превосходившая обычную житейскую сдержанность. Порой в ней была даже естественность, лишённая какого бы то ни было намёка на пол. Цуда всегда мысленно сравнивал тётю с женой Ёсикавы. И всегда удивлялся разнице. Первым вопросом для него было: как могут две дамы одного пола и к тому же не такие уж далёкие по возрасту, производить на людей столь разное впечатление?

— Тётя, как всегда, лишена кокетства.

— В мои-то годы быть кокетливой — это сумасшествие.

Цуда присел на край веранды. Тётя не пригласила его войти внутрь, а продолжала гладить лёгким утюгом лоскут красного шёлка. Тут из соседней комнаты вышла женщина по имени О-Канэ с каким-то распоротым бельём, и, когда она поклонилась Цуде, он сразу же заговорил с ней:

— О-Канэ-сан, а вы всё ещё не просватаны? Если нет, не подыскать ли вам хорошенькое местечко?

О-Канэ, добродушно хихикнув «э-хэ-хэ», слегка покраснела и хотела было принести для него подушку для сидения на веранду. Цуда жестом остановил её и сам вошёл в помещение.

— Послушайте, тётя.

— А?

Тётя ответила рассеянно и нехотя, а когда О-Канэ, налив перед Цудой формальную чашку чуть тёплого зеленого чая, подняла голову.

— О-Канэ-сан, вы уж как следует попросите Ёсио. Этот человек добрый и врать не станет.

О-Канэ всё ещё мялась, не убегая. Цуде стало неловко молчать.

— Это не лесть, правда.

Тётя не выказала особого интереса. В это время с задворок донеслись хлопки пневматического ружья Макото — пум-пум, и тётя насторожилась.

— О-Канэ-сан, сходите, пожалуйста, посмотрите. Если он зарядит пулями, это будет опасно.

У тёти был такой вид, будто она хотела сказать: «Зря ты купил эту дрянь».

— Да ничего страшного. Я ему хорошенько всё объяснил.

— Нет, так нельзя. Он, наверняка, от нечего делать будет стрелять в соседских кур. Пожалуйста, не считите за труд, сходите и заберите у него хотя бы пульки.

О-Канэ, воспользовавшись этим как предлогом, скрылась из гостиной. Тётя молча снова взяла щипцы, воткнутые в жаровню. Цуда, машинально наблюдая, как под её руками на коле-

нях красиво расправляется тонкий, весь в морщинках шёлк, уловил обрывки разговора, доносившиеся из гостевой комнаты.

— Кстати, кто там у вас?

Тётя, словно удивившись, снова подняла голову.

— Ты что, до сих пор не заметил? Странно, какой же ты тупой на ухо. Разве отсюда не слышно?

XXVI

Цуда, сидя на месте, попытался сосредоточиться и определить, кому же принадлежит голос в гостевой. Вскоре он легонько хлопнул себя по колену.

— А, понял. Это Кобаяси, да?

— Да.

Тётя, ничуть не улыбнувшись, спокойно дала краткий ответ.

— Вот оно что, Кобаяси. А я-то думаю, кто это так важно разодет, в новых ботинках, в гостях расселся. Если так, мне бы и стесняться нечего, можно было бы и туда пройти.

В голове у Цуды возник образ Кобаяси, слишком заурядный для того, чтобы его можно было живо представить. Невольно вспомнился и его странный наряд, в котором тот был этим летом. Тогда на нём можно было увидеть нижнее кимоно с воротником из белого крепа, поверх — кимоно из сацумской ткани в крапинку, хакама с тонкими коричневыми полосками и хаори из прозрачного шёлка. Глядя на этот вид, можно было подумать, что хозяин зонтичной лавки только что вернулся с похорон, где он был в числе скорбящих, и прячет за пазухой коробочку с угощением. Тогда он оправдывался перед Цудой тем, что у него украли европейский костюм. И просил одолжить около семи иен. Оказалось, какой-то приятель, посочувствовав его пропаже, сказал, что если Кобаяси сможет выкупить из ломбарда его летний костюм, то он, приятель, подарит ему этот костюм.

Цуда, улыбаясь, спросил у тёти:

— И что же это он, интересно, сегодня вдруг удостоился чести сидеть в гостевой и так величественно изображать посетителя?

— Ему нужно кое о чём поговорить с дядей. А здесь, понимаешь ли, не очень-то удобно говорить.

— Вот как? Неужели у Кобаяси бывают такие серьёзные дела? О деньгах? Или...

Начав так, Цуда, взглянув на серьёзное лицо тёти, вдруг осёкся и замолчал. Та же немного понизила голос. Этот голос куда более соответствовал её спокойному тону.

— Тут ведь ещё и вопрос о сватовстве О-Канэ-сан. Если здесь слишком много болтать, ей будет неловко.

Кобаяси, в отличие от своего обычного громкого тона, произносил слова сейчас таким благородным, почти джентльменским голосом, что, слушая из гостиной, трудно было даже узнать его, — именно по этой причине.

— Уже решилось?

— Похоже, что дело идёт на лад.

В глазах тёти блеснула некоторая надежда. Цуда, которому стало немного сухо, тут же добавил:

— Ну, значит, мне и хлопотать не нужно, да?

Тётя молча посмотрела на Цуду. Его шутовское, можно сказать пустое поведение, даже если оно и не было легкомысленным, казалось совершенно чуждым теперешнему настроению этой женщины.

— Ёсио-сан, а ты сам, когда брал жену, что, с таким же настроением вступал в брак?

Вопрос тёти был не только внезапен, но Цуда даже не мог понять, с какой целью он задан.

— Что значит «с таким настроением»? Это, тётя, тебе одной понятно, а мне, о ком речь, непонятно, так что я и ответить не могу.

— Мне, в общем-то, не обязательно знать твой ответ. Поставь себя на место того, кто пристраивает одну-единственную девушку. Это дело нешуточное.

Четыре года назад, пытаясь сосватать старшую дочь, Фудзии, не имея возможности наскрести денег приданое, уже влез в долги. И едва старик рассчитался с кредиторами, пришла

очередь выдавать замуж вторую дочь. Так что, если дело со сватовством О-Канэ сладится, это будет уже третья крупная трата подряд. Хотя, поскольку она не родная дочь, можно будет и сэкономить, но на их теперешний бюджет это предприятие, несомненно, ляжет тяжёлым бременем.

XXVII

Если бы в такое время Цуда, по собственному почину, мог взять на себя хотя бы половину расходов, для четы Фудзии, столько лет заботившейся о нём, это, несомненно, стало бы достойной наградой. Однако сейчас всё его сочувствие, которое он мог бы выразить материально, ограничивалось разве что покупкой для Макото желанных ботинок «Кид», которые тот так просил. Да и от этого ему пришлось отказаться из-за стеснённых обстоятельств. Тем более у него и в мыслях не было проявить такую доброту — попросить немного денег из Киото, чтобы хоть немного облегчить их положение. Это происходило оттого, что он заранее решил: даже если и расскажет отцу о своих обстоятельствах, тот не шелохнётся, а если бы даже и расседлился, дядя не из тех, кто занимает. Поэтому он был поглощён лишь ожиданием, что поскорее пришлют перевод, и не выказывал особого волнения от слов тёти. Тогда та заговорила снова:

— Ёсио-сан, так с каким же настроением ты брал жену?

— Уж конечно, не в шутку. Как бы я ни был легкомыслен, было бы обидно, если бы вы думали, что я состою из одних пустяков.

— Ну, конечно, серьёзно, разумеется, серьёзно... Но в серьёзности тоже есть разные степени.

Эти слова тёти, которые в зависимости от того, кто их слышал, могли быть восприняты и как оскорбление, Цуда слушал скорее с любопытством.

— Ну и каким же я кажусь в ваших глазах, тётя? Говорите, не стесняясь.

Женщина, опустив голову и взявшись с распоротой вещью, слегка улыбнулась. То ли потому, что она не смотрела на Цуду, это вдруг вызвало у него неприятное чувство. Однако он не собирался отступать перед тётей.

— И всё же, когда доходит до дела, у меня есть и серьёзная сторона.

— Ну, это само собой, раз ты мужчина. Если бы у тебя не было где-то серьёзной основы, ты бы не мог каждый день ходить на службу и работать. Но...

Начав так, тётя вдруг, словно переменив мысли, добавила:

— А, ладно, оставим. Всё равно теперь говорить об этом поздно.

Тётя бережно сложила лоскут красного шёлка, который только что гладила, и убрала в конверт из плотной бумаги с тёмной проклейкой. Затем, взглянув на лицо Цуды, на котором отразились разочарование и тень какой-то неудовлетворённой тревоги, произнесла тоном человека, внезапно вспомнившего что-то:

— Ёсио-сан, ты вообще слишком большой любитель роскоши.

После окончания школы тётя постоянно твердила это Цуде. Он и сам в это верил и не сомневался. И не считал таким уж большим грехом.

— Да, немного роскошествую.

— Я не только об одежде и еде. Беда в том, что у тебя душа чересчур широкая, жаждущая роскоши. Ты похож на человека, который всё время оглядывается по сторонам: нет ли где чего сожрать?

— Тогда я не роскошествую, а просто нищий, что ли?

— Не нищий, но кажешься типом, которому недостаёт серьёзности. Когда человек успокаивается на чём-то среднем, это очень неприглядно, знаешь ли.

В это время в мыслях Цуды мелькнули образы его кузин, дочерей тёти. Обе они были уже замужем. Старшая, вышедшая четыре года назад, вслед за мужем переехала на Формозу (Тайвань — прим. ред) и до сих пор жила там. А младшая, вступившая в брак почти одновременно с ним, сразу после свадьбы уехала с супругом в Фукуоку. Там же находился университет, куда в этом году поступил их старший сын Маюми.

С точки зрения Цуды, для которого обе эти кузины, если бы он захотел, были вполне доступны, эти родственницы отнюдь не были подходящими кандидатками в жёны. Поэтому он и не подал виду. Сопоставив своё тогдашнее поведение с теперешними словами тёти, Цуда не нашёл в нём ничего предосудительного и с беззаботным видом следил за действиями тёти. А та вдруг встала, открыла крышку китайской корзинки, стоявшей в шкафу, и убрала туда конверт, который держала в руке.

XXVIII

Макото, которому О-Канэ-сан в задней комнате пощады в четыре с половиной татами помогала повторять уроки, вдруг начал читать вслух французскую книжку, в которой О-Канэ-сан ни слова не понимала. Цуда, как всегда, с улыбкой слушал, как второклассник нарочно делал длинные паузы между каждым словом, выкрикивая что-то вроде «Жё-суй-поли» или «Тю-э-маляд», как вдруг над его головой зазвонили настенные часы: бом-бом. Он тотчас же достал из рукава слабительное и, поморщившись, посмотрел на маслянистую жидкость. Тут из гостевой, словно подгоняемый боем часов, раздался голос дяди:

— Ну, пойдём туда.

Дядя и Кобаяси через веранду вошли в гостиную. Цуда, слегка поправив позу и поздоровавшись с дядей, сразу же повернулся к Кобаяси.

— Кобаяси, ты, никак, в ударе? Отличный костюм сшил!

Тот был в пиджаке из грубоватой ткани, похожую на домотканую. В отличие от обычного, на его брюках стрелки ещё несколько не разгладились, так что любому было очевидно, что костюм только что сшит. Он, словно пряча за спину носки необычного цвета, уселся перед Цудой.

— Хе-хе, шутишь. Это ты в ударе.

Его новый костюм был сшит по образцу, который он увидел в витрине какого-то универмага, — тройка, украшенная ценником, — и заказан за ту же сумму, что была на ценнике.

— За этот костюм я заплатил двадцать шесть иен, довольно дешево, правда? Не знаю, как по-твоему, любителю роскоши, а для меня это самое то.

Цуда в присутствии тёти не решился снова критиковать. Молча взяв у неё чашку, он, сморщившись, выпил препарат. Все присутствующие с удивлением смотрели на его действия.

— Что это? Странную ты штуку пьёшь. Лекарство?

Дядя, который никогда в жизни ничем не болел, отличался особым невежеством в вопросах медицины. Он даже не знал, для чего принимают подобное. Когда Цуда, чтобы объяснить своё нынешнее состояние, употребил перед этим дядей, почти не знакомым с болезнями, такие слова, как «операция» и «госпитализация», его родственник несколько не взволновался.

— Значит, ты специально пришёл, чтобы сообщить об этом?

С видом, говорившим «ну и спасибо за труд», дядя погладил седую с проседью бороду. Эту бороду, которую вернее было бы назвать не растущей, а росшей, как сад, в который не заходит садовник, кое-где придавала его лицу старческий вид.

— Вообще-то нынешняя молодёжь никуда не годится. Только и делают, что болеют всякими пустяками.

Тётя, взглянув на Цуду, усмехнулась. Тот, знавший историю дяди, который в последнее время приобрёл привычку то и дело вворачивать фразу «нынешняя молодёжь», тоже усмехнулся в ответ. Вспомнив, как давным-давно этот человек, с важным видом, поучал его, что «беспокойство и болезнь — одного корня» или что «болезнь — это грех». Теперь те слова можно было воспринять как похвальбу тем, что сам его родственник никогда не болеет, и Цуда находил этот факт ещё более комичным. Он с лёгкой усмешкой снова взглянул на Кобаяси. И тот немедленно вступил в разговор. Но произнес совершенно обратное тому, что ожидал услышать Цуда.

— Что значит «нынешняя молодёжь»? Есть и такие, кто не болеет. Вот я, например, в последнее время ни разу не лежал. Я думаю, что если у человека нет денег, то он и болеть не будет.

Цуда почувствовал себя глупо.

— Чепуху не говори.

— Нет, правда. Вот ты, например, часто болеешь именно потому, что у тебя есть на это средства.

Этот нелогичный вывод, произнесённый к тому же с серьёзным видом, заставил Цуду ещё больше рассмеяться. Тут и дядя согласился:

— Да, если бы я ещё и заболел, совсем бы несдобровать.

В помрачневшей комнате лицо дяди выглядело темнее всех. Цуда встал и повернул выключатель.

XXIX

Тётя, которая тем временем вышла на кухню и вместе с О-Канэ и служанкой, гремела тарелками и мисками, а затем снова выглянула в гостиную.

— Ёсио-сан, раз уж ты пришёл, оставайся ужинать, ведь давно не был.

Цуда, которому завтра предстояло лечение, хотел отказаться и уйти.

— Ты пришёл как раз в тот день, когда мы с Кобаяси собрались вместе поужинать, так что, может, угощение и небогатое, но посиди с нами.

Цуда, не привыкший к таким словам от дяди, почувствовал себя неловко и снова уселся.

— А что, сегодня что-то особенное?

— Да вот, Кобаяси на этот раз...

Сказав это, дядя мельком взглянул на гостя. Тот слегка самодовольно ухмылялся.

— Кобаяси, что с тобой?

— Да ничего, пустяки. Когда всё решится, я зайду к тебе и подробно расскажу.

— Но я с завтрашнего дня ложусь в больницу.

— Ничего страшного, я и в больницу приду. Заодно и проведу.

Гость тотчас же принялся расспрашивать, где находится клиника, как зовут врача — с таким видом, будто ему это крайне необходимо. Услышав, что фамилия врача тоже Кобаяси, он воскликнул: «А, значит, тот самый, у Хори», — и вдруг замолчал. Хори — это фамилия мужа сестры Цуды. Кобаяси хорошо знал, что тот из-за какой-то особой болезни обращался к этому специалисту, жившему по соседству.

Цуде захотелось узнать, что это за «подробный рассказ». Это было похоже и на тот самый вопрос о замужестве О-Канэ, о котором говорила тётя, но и не совсем. Заинтригованный немного таинственным поведением этого человека, он, однако, не сказал ему прямо, чтобы тот приходил к нему в больницу.

Поскольку Цуда, ссылаясь на подготовку к операции, не притронулся ни к мясу, ни к рыбе, которые тётя специально для него приготовила, ни к его любимому грибному рису, даже тётя, при всей своей сдержанности, пожалела его и попросила О-Канэ сходить купить ему хлеба и молока. Цуда, внутренне содрогаясь при мысли о здешнем хлебе, липком и вечно застревающем в зубах, и в то же время немного опасаясь, как бы его снова не назвали любителем роскоши, молча проводил взглядом удаляющуюся фигуру О-Канэ.

После того как девушка вышла, тётя сказала при всех дяде:

— Хоть бы уж это сватовство сладилось, какое счастье было бы.

— Наверное, сладится.

Дядя ответил беззаботно.

— Мне кажется, всё идёт прекрасно.

И приветствие Кобаяси было лёгким. Молчали только Цуда да Макото.

Когда Цуда услышал имя жениха, ему показалось, что он раз или два встречал этого мужчину в доме дяди, но почти никаких воспоминаний не осталось.

— О-Канэ-сан знакома с этим человеком?

— В лицо знаю. Но не разговаривала.

— Значит, и он с ней не общался?

— Само собой.

— И после этого ещё можно жениться?

Цуда произнес это, полагая, что его логика вполне основательна. И чтобы показать это всем, он сделал лицо, выражающее не столько глупость, сколько удивление.

— Тогда как же надо? Что, все должны поступать так, как ты, когда заключал брак?

Дядя ответил ему с несколько раздражённым тоном. Цуда, имевший в виду скорее тётю, немного смутился.

— Я не то хотел сказать. Вовсе не думаю, что если при подобных обстоятельствах свадьба О-Канэ состоится, это будет плохо. Чтобы ни случилось, если брак будет заключен, это, разумеется, прекрасно.

XXX

Несмотря на это, разговор за столом затих. Беседа, которая до сих пор текла так приятно, вдруг словно наткнулась на плотину, и никто не подхватывал слова Цуды, чтобы передать их дальше по кругу.

Кобаяси, указывая на стоявший перед ним пивной стакан, тихо, словно по секрету, спросил у сидевшего рядом Макото:

— Макото-сан, хочешь пива? Попробуй немного.

— Горькое, не хочу.

Макото тут же отрезал. Кобаяси, который с самого начала и не думал его поить, воспользовавшись случаем, громко рассмеялся. Видимо, решив, что нашёл хорошего собеседника, Макото вдруг сказал Кобаяси:

— У меня есть пневматическое ружьё за одну иену пятьдесят сэн! Хотите, принесу показать?

Когда он тотчас же вскочил, побежал в заднюю комнату и принёс оттуда в гостиную новую игрушку, Кобаяси, в силу обстоятельств, волей-неволей пришлось стать ценителем этого блестящего ружья. Дяде и тётке тоже нужно было из чувства долга добавить хоть слово ласки ради своего любимого сына.

— То часы купи, то вечное перо купи — донимает бедного отца, никакого спасу нет. Хорошо ещё, что в последнее время он, кажется, оставил мысль о лошади, и на том спасибо.

— Лошади, знаете ли, тоже бывают неожиданно дешёвыми. Если поехать на Хоккайдо, можно за пять-шесть иен отличную купить.

— Не говори того, чего не видел.

Благодаря ружью все снова потихоньку начали что-то произносить. Женитьба снова стала темой их беседы. Это, несомненно, было продолжением прерванного ранее разговора. Однако те, кто говорил об этом, руководствовались теперь несколько иным настроением, которое влияло на их манеру выражаться.

— Это уж такая странная вещь. Даже если сойдутся совсем чужие люди, совсем незнакомые, вовсе не обязательно, что они разойдутся, и наоборот, как бы ни были уверены друг в друге супруги, соединившиеся по любви, вовсе не обязательно, что они проживут в согласии до конца своих дней.

Честно обобщив всё, что она видела в жизни, тётя не могла прийти к иному выводу. Её попытка устроить брак О-Канэ в одном из углов этой великой истины была не столько защитой, сколько объяснением. И это объяснение, с точки зрения Цуды, было крайне несовершенным и крайне ненадёжным. Именно тётя, которая, казалось, сомневалась в серьёзности Цуды в отношении брака, по его мнению, в этом пункте была настроена слишком легкомысленно.

— Это слова обывателей, у которых жизнь легка! — тётя перешла в наступление, обращаясь к Цуде. — Можем ли мы, простые люди, позволить себе такую роскошь, как ухаживания, помолвки? Если есть желающий взять или желающий прийти, мы должны быть благодарны и на том.

Цуда, учитывая присутствие всех, не хотел обсуждать сейчас случай с О-Канэ. Не имея с ней достаточно близких отношений и не испытывая к этому интереса, он не мог промолчать только потому, что чувствовал необходимость развеять сомнения тётки в его собственной несерьёзности, указав на её легкомысленность. Он, делая вид, что задумался, покачал головой и произнес:

— Я вовсе не собираюсь критиковать то, как обстоит дело с О-Канэ. Но вообще-то, можно ли так легко относиться к браку? Мне кажется, в этом есть что-то легкомысленное, и это меня беспокоит.

— Но если сторона, которая отдаёт, настроена серьёзно, и сторона, которая берёт, тоже, то откуда же возьмётся подобная легкомысленность, Ёсио-сан?

— Вопрос в том, можно ли так просто, с бухты-барахты, стать серьёзным.

— Если бы нельзя было, то разве могла бы я, например, выйдя замуж за Фудзию, вот так спокойно здесь сидеть?

— Это, тётя, у вас так. Но нынешняя молодёжь...

— Что значит «нынешняя»? Разве люди изменились с тех пор? Всё зависит от собственной решимости.

— Если так говорить, то это уже не спор, а чёрт знает что.

— Может, и не спор, но на деле я-то оказываюсь лучше тебя, Ёсио-сан, так что ничего не поделаешь. Неизвестно, насколько серьёзнее я, чем тот, кто после долгих разборов взял жену, а потом всё равно продолжает перебирать кости и не может успокоиться.

Дядя, который всё это время ковырялся в мясе, словно настал момент, когда он должен был вмешаться, поднял глаза от тарелки.

XXXI

— Ну и шум подняли. Слушаешь молча — и не скажешь, что это разговор тёти с племянником.

Вмешавшись между ними с этими словами, дядя, по сути, не был ни судьёй, ни арбитром.

— Похоже, вы говорите друг с другом с какой-то враждебностью. Что, поссорились, что ли?

Его вопрос был всего лишь замечанием, облечённым в форму вопроса. Кобаяси, катая с Макото шарики, украдкой взглянул в их сторону. И тётя, и Цуда разом замолчали. Дяде наконец пришлось, приняв позу примирителя, открыть рот.

— Ёсио, тебе, нынешней молодёжи, может, и трудно понять, но тётя не врёт. Когда она шла за меня, совершенно незнакомого, она уже была готова ко всему. Тётя, ещё не войдя в наш дом, была так же серьёзна, как и после того, как стала членом нашей семьи.

— Это я и без спросу знаю.

— Но вот, понимаешь, почему она приняла столь важное решение?

Дядя, уже начавший пьянеть, словно чувствуя необходимость снабдить влагой своё разгорячённое лицо, снова взял стакан и хлебнул пива.

— По правде говоря, я никому до сих пор не рассказывал, в чём тут дело. Ну как, рассказать?

— Да.

Цуда тоже наполовину был серьёзен.

— А дело в том, что твоя тётя, видите ли, была в меня влюблена. То есть она с самого начала хотела выйти за меня. Поэтому она, ещё не выйдя, уже с невероятной решимостью приготовилась к браку.

— Глупости говорите! Кто в такого уроды, как вы, влюбится!

И Цуда, и Кобаяси расхохотались. Один лишь Макото, ничего не понимая, повернулся к матери.

— Мама, что значит «влюблена»?

— Мама не знает, спроси у папы.

— Тогда, папа, что это значит — «влюблена»?

Дядя, ухмыляясь, бережно погладил себя по макушке. Цуде показалось, что эта лысина, может, от выпитого, была чуть краснее обычного.

— Макото, «влюблена» — это значит... ну, это самое... в общем, нравится.

— Фу... Ну и хорошо.

— А кто говорит, что плохо?

— Но все же смеются.

В середине этого диалога как раз вернулась О-Канэ-сан, и тётя тут же велела постелить Макото и отправила его спать. А реплики дяди, вошедшего в раж, всё активнее сыпались из уст.

— И в старину, конечно, бывали любовные истории. Сколько бы Аса ни делала страшное лицо, они, конечно, были. Но в этом есть сторона, которую нынешней молодёжи ни за что не понять, странно, правда? В старину, бывало, женщина влюблялась в мужчину, но мужчина ни за что не влюблялся в женщину. Правда, Аса, так ведь?

— Почём я знаю.

Тётя, сев на место, где только что был Макото, быстро принялась накладывать себе грибной рис и есть.

— Нечего сердиться. Здесь и факт, и своего рода философия. Сейчас я вам изложу эту философию.

— Нам не нужно больше слушать такие вещи.

— Тогда я расскажу только молодым. Ёсио и Кобаяси, слушайте внимательно для справки. Вообще, за кого вы принимаете чужих дочерей?

— За женщин.

Цуда ответил наполовину в шутку, наполовину нарочно.

— То-то и оно. Вы думаете о них просто как о женщинах, а не как о дочерях. В этом-то и огромная разница с нами. Мы никогда не смотрели на чужих дочерей просто как на женщин, независимых от отца с матерью. Поэтому, на какую бы барышню мы ни посмотрели, мы с самого начала исходили из того, что у этой барышни есть хозяева — отец и мать. Так как же тут влюбишься, сколько ни старайся? Ведь что такое влюбиться или любить друг друга? Это значит сделать другого своим, присвоить, верно? А совать руки в то, на что уже есть право собственности, — разве это не воровство? Поэтому честные люди в старину ни за что не влюблялись. Правда, женщины точно влюблялись. Вон Аса, которая сейчас ест грибной рис, на самом деле тоже была в меня влюблена. Но я, с моей стороны, не припомню, чтобы когда-нибудь любил её.

— Будет вам, кончайте и садитесь ужинать.

Тётя, позвав О-Канэ, которая ушла укладывать Макото, велела ей разложить рис по чашкам. Цуда, делать нечего, принялся, морщась, жевать свой безвкусный хлеб.

XXXII

После ужина разговор уже не клеился. Но и не перешёл в какую-то душевную беседу. Словно сломалась главная колонна, на которой держался общий интерес, все говорили вразнобой, а потом заметили, что никто и не пытается собрать это всё воедино.

Дядя, опершись обоими локтями об обеденный столик, зевнул два раза подряд — следствие выпитого. Тётя позвала служанку и велела убрать остатки еды на кухню. В душе Цуда, который уже некоторое время ощущал на себе влияние возникшей тяжёлой атмосферы, слова дяди, услышанные сегодня вечером, временами отбрасывали лёгкую тень, словно облака, проплывающие по лунному диску. И каждый раз, хотя постороннему эти слова должны были казаться тающими вместе с пивной пеной, Цуда, напротив, придавал им какой-то особый смысл, то догоняя их, то возвращая обратно. Когда он замечал это, ему становилось неприятно за самого себя.

В то же время он не мог не вспомнить и перепалку между ним и тётей. Во время этой стычки он всё время сдерживал себя, стараясь не выказывать своих чувств. В этом была его гордость, и в то же время, как подсказывало ему его настроение, в этом таился и определенный дискомфорт.

Взглянув на этот давно откладывавшийся визит, на который он убил полдня, просто с точки зрения приятности-неприятности, Цуда тотчас же на контрасте вызвал в памяти оживлённую госпожу Ёсикава и её красивую гостиную. Вслед за этим перед его глазами проплыло лицо О-Нобу, которая в последнее время наконец начала укладывать волосы в пышную причёску марумагэ.

Собираясь было встать, он оглянулся на Кобаяси.

— Ты ещё остаёшься?

— Нет. Я тоже пойду.

Кобаяси тут же засунул недокуренную папиросу «Сикисима» в карман брюк. Тут, когда они уже собрались уходить, дядя, словно невзначай, снова открыл рот.

— А как там О-Нобу? Всё собираюсь да собираюсь навестить, но бедность, некогда, вот и не захожу. Передавай привет. Небось скучает без тебя, когда ты пропадаешь в больнице? Эта женщина. Вообще, чем она занимается?

— Чем занимается? Да ничего особенного, наверное.

Рассеянно ответив так, Цуда вдруг, по какой-то причине, добавил:

— То говорит такие беззаботные вещи — «хочу лечь в больницу вместе с тобой», то командует: «подстригись», «сходи в баню» — куда строже, чем тётя.

— Молодец, разве нет? Найдётся ли ещё кто-нибудь, кто будет давать такие советы такому щёголю, как ты?

— Счастливчик!

— А как театр? В последнее время ходите?

— Да, иногда ходим. На днях вот Окамото приглашал, но, к сожалению, нужно было уладить дела с этой болезнью.

Тут Цуда мельком взглянул на тётю.

— А что, тётя, не пригласить ли вас на днях в Императорский театр? Иногда полезно сходить в такое место, освежиться.

— Ах, спасибо. Но если уж вы меня приглашаете...

— Не хотите?

— Не то чтобы не хочу, а когда ещё это будет, неизвестно.

Цуда, нарочно восприняв этот ответ тёти, не слишком жаловавшей театры, буквально, почесал в затылке.

— Если уж мне так мало доверия, то я и не знаю...

Тётя фыркнула.

— Театр — это ладно, а как у тебя с Киото, Ёсио-сан, потом что?

— А что, из Киото что-нибудь писали сюда?

Цуда, приняв серьёзное выражение, перевёл взгляд с дяди на тётю. Но оба ничего не ответили друг другу.

— А дело в том, что отец написал мне, что в этом месяце денег прислать не может и чтобы я выкручивался сам. Разве это не возмутительно?

Дядя только усмехнулся.

— Брат, видно, сердится.

— Всё это Хидэ, наверное, наговорила лишнего, вот и вышло плохо.

Цуда, с некоторой досадой, произнёс имя сестры.

— Хидэ не виновата. С самого начала виноват ты, Ёсио-сан.

— Может, и так, но где это видано, чтобы кто-то аккуратно, каждый месяц возвращал деньги, полученные от отца?

— Тогда и не надо было с самого начала обещать аккуратно возвращать. К тому же...

— Понял я, тётя!

Цуда своим видом показал, что чувствует себя побеждённым, и встал. Однако, чтобы придать бодрости себе, поспешно отступающему после поражения, он, словно подстёгивая, потянул за собой Кобаяси, не забыв выйти вместе с ним на улицу.

XXXIII

Снаружи не было ветра. Тихий воздух холодно касался щёк двоих быстро шагающих людей. Казалось, с высокого звёздного неба тихо-тихо падала невидимая глазу прозрачная роса. Цуда похлопал себя по плечу пальто. Отчётливо ощутив кончиками пальцев холодок, просачивающийся сквозь подкладку пальто, он оглянулся на Кобаяси.

— Днём тепло, а к ночи всё-таки холодно.

— Ага. Всё-таки уже осень. Прямо-таки пальто нужно.

Кобаяси был только в своём новом костюме-тройке, ничего поверх. Он громыхал тяжёлыми, нарочито грубыми, с толстыми квадратными носами, американского фасона ботинками и нарочито размахивал толстой тростью, — его вид точь-в-точь походил на демонстранта, оказывающего сопротивление холодному воздуху.

— А куда делось то твоё хвалёное пальто, что ты сшил, когда ещё учился в школе?

Он вдруг задал Цуде неожиданный вопрос. И тот не мог не вспомнить то время, когда хвастался этим пальто перед Кобаяси.

— Ещё есть.

— Что, до сих пор носишь?

— Сколь бы я ни был беден, не могу же я вечно бережно носить студенческое пальто.

— Вот как? Ну, значит, отлично. Отдай его мне.

— Если хочешь, могу отдать.

Цуда ответил скорее холодно. Человек, обновивший всё, вплоть до носков, и желающий при этом получить чужое поношенное пальто, — в этом было некоторое противоречие. По крайней мере, это доказывало, что в жизни этого человека существуют нерегулярные материальные «неровности», ухабы. Помолчав, Цуда спросил Кобаяси:

— Почему же ты вместе с костюмом не сшил и пальто?

— Нельзя меня с тобой равнять.

— Тогда откуда же взялись этот костюм и ботинки?

— Вопрос у тебя слишком жёсткий. Можешь быть спокоен, я, сколько ни есть, ещё не ворую.

Цуда тут же замолчал.

Они вышли на вершину большого спуска. Невысокий холм, видневшийся на той стороне широкой долины, чернел длинной полосой, словно спина чудовища. Кое-где в осенней ночи там и сям мерцали огоньки, источая капельки тепла.

— Слушай, давай по дороге зайдём куда-нибудь, пропустим по одной!

Прежде чем ответить, Цуда сначала оценивающе взглянул на Кобаяси. Справа от них был высокий вал, а на нём сплошь разрослась густая бамбуковая роща. Ветра не было, бамбук не шумел, но верхушки бамбуковых листьев, казавшихся спящими, навевали Цуде чувство осеннего запустения.

— Какое здесь мрачное место. Наверное, оно всегда будет заброшено, потому что приходится на задворки какого-то даймё или аристократа. Пора бы уже его расчистить.

Цуда произнёс это, пытаясь уклониться от прямого предложения. Но Кобаяси и в грош не ставил бамбуковую рощу.

— Эй, пойдём! Давно не пили вместе.

— Только что же пили, а тебе уже опять захотелось?

— Только что пили! Такая малость за выпивку и не считается.

— Но ты же сам отказался, сказал, что с тебя довольно.

— При хозяине и хозяйке нельзя было напиться как следует, вот я и сказал так, делать нечего. Если уж совсем не пить — ладно, а давать вот так, по чуть-чуть, — это даже вредно. Нужно выпить до нужной степени, а потом уж останавливаться, иначе на здоровье повлияет.

Кобаяси, выдумывавший удобные для себя доводы и во что бы то ни стало тащивший за собой Цуду, был для него несколько обременительным спутником. Цуда, наполовину с иронией, спросил:

— Ты угощаешь?

— Ага, могу и угостить.

— И куда же ты собираешься пойти?

— Куда угодно. Хоть в забегаловку, где подают одэн, и то сойдёт.

Они молча спустились вниз по склону.

XXXIV

Если судить по маршруту, Цуде нужно было сворачивать здесь направо, а Кобаяси идти прямо. Но когда Цуда, желая расстаться по-хорошему, прикоснулся было к шляпе, Кобаяси, заглядывая своему спутнику прямо в лицо, произнёс:

— Я тоже пойду туда.

В направлении, куда они двинулись, тянулись на два-три тё (японская мера длины, в одном тё примерно 109 метров — прим. ред) кварталы, удобные для выпивки и еды. Когда они увидели заведение посреди улицы, похожее на бар, с остеклённой дверью, уютно освещённой изнутри, Кобаяси сразу остановился.

— Вот это место хорошее. Давай зайдём сюда.

— Я не хочу.

— Приличного дома, который бы тебе понравился, здесь поблизости нет, так что потерпим здесь.

— Я же болен.

— Ничего, за болезнь я отвечаю, не волнуйся.

— Не шути. Я не хочу.

— Жене я сам объясню, так что ладно.

Цуде это надоело, и он, оставив Кобаяси на месте, быстро зашагал прочь. Тогда Кобаяси, поравнявшись с ним, уже другим, более серьёзным тоном, настойчиво спросил:

— Тебе так неприятно пить со мной?

На самом деле это было ему действительно настолько неприятно, что, услышав эти слова, Цуда тут же остановился. И, вопреки своему желанию, принял решение.

— Ладно, давай выпьем.

Они тотчас же потянули на себя светлую остеклённую дверь и вошли внутрь. Кроме них, там было всего пять-шесть посетителей, но из-за того, что заведение было не слишком просторным, чувствовалась теснота. Выбрав уголок, где, по-видимому, можно было относительно свободно усесться, они заняли места напротив друга друга и, пока ждали заказ, с несколько любопытным видом оглядывались по сторонам.

Судя по одежде, среди прочих любителей выпивки не было ни одного человека с заметным общественным положением. Те, кто, видимо, возвращался из бани, с мокрым полотенцем на плече поверх полосатого хантэна (короткая куртка, как правило это рабочая одежда — прим. ред), подпоясанные простым хлопчатобумажным поясом, с нарочито нацепленной подделкой под нефрит посередине шнура для хаори, — такие субъекты были ещё из более-менее приличных клиентов. Иные и вовсе выглядели сущими сборщиками макулатуры. Был даже один в рабочем переднике и кальсонах.

— Ну как, демократично, хорошо, правда?

Кобаяси наливал сакэ в чарку Цуды. Его новый, кричащий костюм, словно опровергавший его слова, тотчас же бросился в глаза Цуде, но сам он, казалось, этого вовсе не замечал.

— Я, в отличие от тебя, всё-таки симпатизирую низшим слоям общества.

С таким видом, будто здесь собрались чуть ли не его братья, Кобаяси обвёл взглядом всех присутствующих.

— Посмотри. У них у всех физиономии лучше, чем у представителей высшего общества.

Цуда, у которого не хватило смелости с ними поздороваться, вместо того чтобы обводить взглядом всех, пристально посмотрел на Кобаяси. Собеседник тут же уступил.

— По крайней мере, они умиротворены, правда?

— В высшем обществе тоже бывают вполне умиротворенные персоны.

— Но способ умиротворения другой.

Цуда гордо не стал спрашивать, в чём разница. Но Кобаяси ничуть не смутился и продолжал одну за другой опрокидывать чарки.

— Ты презираешь таких людей. С самого начала смотришь на них свысока, как на не заслуживающих сочувствия.

С этими словами, не дожидаясь ответа Цуды, он окликнул какого-то парня, похожего на разносчика молока, сидевшего напротив.

— Эй, друг! Ведь правда?

Неожиданно окликнутый парень повернул упрямую шею и мельком взглянул на них. Тогда Кобаяси тотчас же протянул в его сторону свою чакру.

— Ну-ка, выпей!

Парень ухмыльнулся. К несчастью, между ним и Кобаяси было расстояние около двух метров. Не чувствуя необходимости вставать и принимать чарку, тот лишь улыбнулся и не двинулся с места. Но и это, кажется, удовлетворило Кобаяси. Убирая протянутую чарку и поднося её ко рту, этот тип снова заявил Цуде:

— Вот видишь, как я и говорил. Ни одного высокомерного типа, как в высшем обществе.

XXXV

Небольшого роста мужчина в пальто-инвернесс (длинное просторное пальто с пелериной — прим. ред) вошёл, разминувшись с коротко стриженным парнем в хантэне, и сел немного поодаль от них. Не снимая глубоко надвинутой на лоб кепки, он огляделся по сторонам, затем полез за пазуху. Достав оттуда тонкую небольшую записную книжку, раскрыл её и уставился в неё — то ли читал, то ли думал. Он так и не снял своё потрёпанное пальто-инвернесс. И кепка оставалась у него на голове. Но книжку данный посетитель долго не держал раскрытой. Бережно спрятав её за пазуху, он теперь, попивая, исподлобья, словно стараясь не смотреть, начал разглядывать других людей. Время от времени данный субъект высовывал руку из-под полы своего коротковатого пальто и поглаживал редкие усики под тонким носом.

Цуда и Кобаяси, сами того не замечая, уже некоторое время следили за ним, и когда их взгляды встретились с его взглядом, они уставились друг на друга, повернувшись прямо. Кобаяси слегка подался вперёд.

— Знаешь, кто это?

Цуда не изменил позы. Ответил тоном, говорившим, что вопрос не стоит ответа.

— Откуда мне знать.

Кобаяси ещё понизил голос.

— Это же шпик.

Цуда не ответил. Обладая большей, чем собеседник, устойчивостью к сакэ, он, напротив, не терял самообладания. Молча осушил свою чарку. Кобаяси тут же налил ему до краёв.

— Посмотри на этот взгляд.

Цуда, слегка усмехнувшись, наконец открыл рот.

— Если будешь без разбору ругать высшее общество, то тебя сразу же примут за социалиста. Будь осторожнее.

— Социалиста?

Кобаяси нарочито громко произнес это слово и нарочно посмотрел в сторону мужчины в инвернесе.

— Насмешил. Я, как ни посмотри, всего лишь сочувствующий добропорядочным беднякам. А вот вы, такие чопорные, прилизанные, гораздо хуже меня. Подумай хорошенько, кого из нас скорее следует забрать в полицию.

Мужчина в кепке молча уставился в пол, так что Кобаяси ничего не оставалось, как наброситься на Цуду.

— Ты, может, и не считаешь этих землекопов и чернорабочих за людей?

Кобаяси начал было так и огляделся по сторонам, но, к несчастью, ни землекопов, ни чернорабочих нигде не было видно. Однако он, ничуть не смущаясь, продолжал болтать.

— Неизвестно, насколько больше в них, чем в тебе или в шпике, врождённой благородной человечности. Только эта человеческая красота загрязнена пылью бедности и нужды. То есть они грязны, потому что не могут помыться. И нечего их презирать.

Тон Кобаяси звучал скорее как защита самого себя, чем как защита бедняков. Но Цуда опасался, что если он будет слишком активно ввязываться в подобные дискуссии, то это повредит его репутации, и нарочно уклонялся от спора. Тогда Кобаяси снова пристал к нему.

— Ты молчишь, но не веришь моим словам. У тебя точно такой вид. Тогда я тебе объясню. Ты ведь листал русские романы?

Цуда, не прочитавший ни одного русского романа, по-прежнему ничего не отвечал.

— Тот, кто читал русские романы, особенно романы Достоевского, наверняка знает. Что, каким бы низким и необразованным ни был человек, порой из его уст, как из источника, льются

слёзно трогательные, совершенно безыскусные, чистые и искренние чувства. Каждый должен это знать. Ты считаешь это ложью?

— Я Достоевского не читал, так что не знаю.

— Спроси у сэнсэя, он скажет, что это ложь. Что это всего лишь приём, рассчитанный на то, чтобы, нарочно вложив такие возвышенные чувства в низменные сосуды, сентиментально воздействовать на читателя, — иными словами, это своего рода художественный приём, который из-за успеха Достоевского породил множество подражателей и стал дешёвкой. Но я так не думаю. Когда слышу такое от сэнсэя, меня это бесит. Сэнсэй не понимает Достоевского. Сколько бы ему ни было лет, он постарел только на книгах. А я, сколько бы мне ни было лет, я...

Слова Кобаяси становились всё настойчивее. Под конец он с видом человека, не сумевшего сдержать своего волнения, уронил несколько слёз прямо на скатерть.

XXXVI

К несчастью, сердце Цуды не было настолько пьяно, чтобы поддаться настроению собеседника. Его взгляд, наблюдавший это возбуждённое состояние со стороны, оставался критическим. Он сомневался внутри себя, что же заставляет Кобаяси плакать — сакэ или дядя. Достоевский или японские низы. Что бы это ни было, он прекрасно понимал, что это не имеет к нему почти никакого отношения. Ему было и скучно, и тревожно. Он лишь с досадой смотрел на следы слёз, пролитых перед ним этим впечатлительным человеком.

Мужчина, которого они заподозрили в слежке, снова достал из-за пазухи тонкую записную книжку и принялся что-то усердно писать в неё карандашом. Его поведение, тихое, как у кошки, но, казалось, и всё подмечающее, как у кошки, вызывало у Цуды странное чувство. Но опьянение Кобаяси уже перешагнуло через это. Шпики были ему совершенно безразличны. Опьяневший спутник вдруг сунул руку в рукав своего нового костюма прямо под нос Цуде.

— Когда я одет грязно, ты, наверное, презираешь меня, говоря, что грязно. А когда изредка надеваю чистое, презираешь за чистоту. Так что же мне делать? Как мне добиться твоего уважения? Будь милостив, научи. Мне, как ни крути, хочется, чтобы ты меня уважал.

Цуда, горько усмехнувшись, оттолкнул его руку. Удивительно, но в этой руке не было силы.словно первоначальный напор внезапно куда-то улетучился, она послушно вернулась на место. Но его рот не был так послушен, как рука. Убрав её, он тотчас же открыл рот.

— Я прекрасно знаю, что у тебя на уме. Ты, наверное, хочешь посмеяться, что я, так сочувствуя низшим слоям, и будучи сам бедняком, сшил себе новый костюм, и считаешь это противоречием.

— Как бы ни был беден, сшить себе один костюм — дело обычное. Иначе пришлось бы ходить голым. Что плохого в том, чтобы сшить? Никто ничего такого не думает.

— А вот и нет. Ты думаешь, что я просто наряжаюсь. Считаешь, что я щеголяю. Это плохо.

— Вот как? Ну, плохо так плохо.

Цуда, поняв, что с собеседником не сладить, наконец осознал удобство капитуляции и начал поддакивать для вида. Тогда и тон Кобаяси естественно изменился.

— Нет, я тоже плох. Плох. Во мне тоже есть щегольство. Я это вполне себе признаю. Признаю, но знаешь ли ты, почему я сшил этот костюм?

У Цуды, конечно, не было причин знать такую особую причину. Да и знать не хотелось. Но в силу обстоятельств пришлось спросить. Кобаяси, разведя руки в стороны, оглядывая себя, ответил скорее с грустью.

— Дело в том, что в этом костюме я скоро уезжаю из столицы. Уезжаю в Корею.

Цуда впервые удивлённо взглянул на собеседника. Заодно заметил, что галстук у него съехал набок, что давно его беспокоило, и велел поправить, после чего снова продолжил слушать.

Оказалось, что его спутник долгое время помогал дяде с редактированием журнала, корректурой, а в промежутках писал свои статьи и носил их повсюду, где могли заплатить, и, хотя всегда казался занятым, в конце концов не выдержал жизни в Токио и решил перебраться в Корею, где почти договорился о работе в одной местной газете.

— Если так трудно, сколько ни терпи в Токио, ничего не поделаешь. Жить там, где нет будущего, действительно невыносимо.

Говоря так, будто в Корее его ждут блестящие перспективы, он тут же противоречил сам себе.

— Короче говоря, я, наверное, родился под несчастливой звездой — всю жизнь скитаться. Никак не могу осесть на одном месте. Даже если бы я сам захотел, общество не даёт, вот ведь жестокость. Не остаётся ничего другого, как стать беглецом.

— Пустить корни — это не только твоя беда. Я тоже никак не могу.

— Не говори таких греховных слов. Ты не можешь сделать этого от излишества. А мне, чтобы не умереть с голоду, придётся гоняться за куском хлеба до самой смерти, вот в чём му́ка.

— Но невозможность в наши дни просто взять и пустить корни — это общая черта современных людей. Ты не один такой страдалец.

Кобаяси не выказывал желания утешиться словами Цуды.

XXXVII

Служанка, уже некоторое время наблюдавшая за ними, вдруг подошла и с нарочитым видом принялась убирать со стола. Словно по этому сигналу, мужчина в пальто-инвернесс бесшумно встал. Оба они, давно уже переставшие пить и только болтавшие, тоже не могли оставаться на месте. Цуда, улучив момент, сразу же поднялся. Кобаяси, прежде чем отойти от стула, взял коробку с папиросами, стоявшую между ними. И, достав оттуда ещё одну папиросу с золотым мундштуком, закурил. Это действие, похожее на плату за проезд, иронично кольнуло взгляд Цуды, который взял коробку с папиросами и убрал в рукав.

Время было ещё не очень позднее, но осенние улицы темнели удивительно быстро. Трамвай гудел где-то вдалеке, издавая звуки, неслышные днём. Две чёрные тени, каждая под влиянием своего настроения, всё ещё не расставались и двигались вдоль реки.

— Когда ты едешь в Корею?

— Может, как раз когда ты будешь в больнице.

— Так скоро?

— Да нет, не обязательно. Точно не узнаю, пока сэнсэй ещё раз не встретится с тамошним главным редактором.

— День отъезда? Или сам факт поездки?

— Ну, примерно...

Его ответ был немного уклончив. Когда Цуда, не став допытываться, быстро зашагал дальше, Кобаяси снова заговорил.

— По правде говоря, я и не хочу ехать.

— Дядя Фудзии что, настаивает?

— Да нет.

— Тогда и не ездь, раз не хочешь.

Слова Цуды, будучи очевидной для всех истиной, жестоко пронзили настроение собеседника, который, казалось, жаждал сочувствия. Через несколько шагов Кобаяси вдруг повернулся к Цуде.

— Цуда-кун, мне одиноко.

Цуда ничего не ответил. Они снова молча зашагали. Вода, скудно текущая посреди мелкого русла, исчезала в темноте под смутно видимыми сваями моста, издавая слабый звук, который журчал в промежутках между гудками трамваев.

— Я всё-таки поеду. Так или иначе, лучше поехать.

— Ну и езжай.

— Угу, поеду. Чем быть здесь и чтоб меня все презирали, лучше уж в Корею или на Формозу.

В его тоне слышалось раздражение. Цуда вдруг почувствовал необходимость применить более мягкий тон.

— Не надо так пессимистично смотреть. Пока ты молод и здоров, куда бы ты ни поехал, везде сможешь добиться успеха, правда?.. Давай перед твоим отъездом устроим прощальную вечеринку, чтобы поднять тебе настроение.

Теперь уже Кобаяси не ответил. Цуда, чтобы загладить возникшую неловкость, снова заговорил:

— Если ты уедешь, как же тогда со свадьбой О-Канэ-сан? Ведь будет трудно.

Кобаяси посмотрел на Цуду, словно человек, вдруг вспомнивший о сестре, о которой до сих пор и не думал.

— Угу. Её, конечно, жалко, но ничего не поделаешь. То есть пусть считает, что ей не повезло, и смирится.

— Даже если ты уедешь, дядя и тётя как-нибудь устроят, наверное.

— Да, видимо, только так и остаётся. Иначе пришлось бы отменить эту свадьбу и держать её вечно вместо служанки в доме сэнсэя, — но это, наверное, одно и то же. Кроме того, я ещё должен сэнсэю. Если я поеду, мне придётся занять у него на дорогу.

— А там разве не дадут?

— Похоже, не дадут.

— Надо бы как-нибудь вытянуть.

— Ну...

Когда после минутного молчания он снова заговорил, это было похоже на монолог.

— Деньги на дорогу займу у сэнсэя, пальто возьму у тебя, единственную сестру брошу, — проще некуда.

Это были последние слова, сказанные Кобаяси в тот вечер. Наконец они расстались. Цуда, даже не оглянувшись, быстро зашагал домой.

XXXVIII

Ворота его дома, как обычно, были заперты. Он взялся за калитку. Но и калитка в эту ночь не открывалась. Подумав, что, может, она попросту заедает, попробовал ещё два-три раза и, когда, наконец, дёрнул её изо всех сил, услышал с обратной стороны тяжёлый лязг засова и наконец сдался.

Удивлённый этим неожиданным обстоятельством, Цуда некоторое время постоял перед калиткой, склонив голову набок. С тех пор как они завели своё хозяйство, он ни разу не ночевал вне дома, и даже когда случалось возвращаться поздно, с таким ещё не сталкивался.

Сегодня он хотел пораньше вернуться домой, ещё с сумерек. И ужин у дяди, скорее номинальный, ел тоже вынужденно. И немного сакэ, к которому не лежала душа, выпил только из вежливости перед Кобаяси. Вечер Цуда провёл вне дома, в мыслях всё время возвращаясь к образу О-Нобу. Вернувшись с этой холодной улицы, он словно стремился к тёплому домашнему огоньку, идя прямо на него. Когда его тело, словно лошадь, наткнувшись на глинобитную стену, остановилось, его ожидание тоже внезапно упёрлось в ворота. Произошло ли это из-за О-Нобу или случайности? Для него сейчас это был отнюдь не маловажный вопрос.

Он поднял руку и два раза тихонько постучал в запертую калитку — тук-тук. Стук, звучавший скорее как «почему заперто?», чем «откройте», разнёсся в темноте поздней улицы. И тут же изнутри раздалось «да!». Голос, ударивший по его барабанным перепонкам почти мгновенно, как эхо, принадлежал не служанке, а О-Нобу. Внезапно успокоившись, Цуда прислушался с этой стороны двери. Ясно послышался щелчок выключателя — зажгли свет в прихожей, который обычно зажигали только по необходимости. Решётчатая дверь тут же с шумом отодвинулась. Входная дверь, очевидно, ещё не была заперта.

— Кто там?

Когда шаги, приблизившиеся к самой калитке, остановились, О-Нобу прежде всего спросила так. Он заторопился ещё больше.

— Открывай скорее, это я.

— Ах! — вскрикнула О-Нобу.

— Это были вы! Простите, пожалуйста.

С лязгом отодвинув засов и впустив мужа, она была бледнее обычного. Он сразу же прошёл через прихожую в гостиную.

Гостиная была, как обычно, аккуратно прибрана. Чайник, как всегда, кипел. Перед длинной жаровней, по обыкновению, была постелена толстая шерстяная подушка, словно ожидавшая его возвращения. Напротив её обычного места, кроме её собственной подушки, лежала женская шкатулка для письменных принадлежностей. Крышка, инкрустированная перламутром в виде цветов сливы, была снята и отложена в сторону, маленькая тушечница влажно поблёскивала. В доказательство того, что хозяйка поспешно встала, тонкий кончик кисточки, распустив тушь на бумаге, портил конец начатого письма длиной в семь-восемь сун (мера длины, около 3,03 см — прим. ред).

Заперев двери и войдя вслед за мужем, О-Нобу, накинув повседневное хаори поверх ночного кимоно, плюхнулась на то место.

— Извините, пожалуйста.

Цуда поднял глаза на настенные часы. Те только что пробили одиннадцать. После женитьбы он возвращался в такое время не впервые, хоть это и было исключением.

— С какой стати ты меня не выпускаешь? Думала, уже не вернусь?

— Нет, я всё время ждала, думала: «Уже вернулся? Уже вернулся?» Под конец мне стало так одиноко, невтерпёж, вот я и принялась писать письмо домой.

Родители О-Нобу, так же как и родители Цуды, жили в Киото. Цуда издали взглянул на недописанное послание. Но всё ещё не мог понять.

— Если ждала, зачем же запирасть ворота? Из-за опасности?

— Нет... Я вовсе не заперала ворота.

— Но они же были заперты.

— Это Токи, наверное, со вчерашнего вечера так и оставила запертыми. Ну и человек!

С этими словами О-Нобу, по своему обыкновению, чуть дёрнула бровью. Объяснение, что служанка забыла с утра отпереть засов на калитке, которым днём не пользовались, вовсе не было неразумным.

— А где Токи?

— Я её уже отпустила спать.

Цуда, не находя нужным будить служанку и выяснять, кто виноват, оставил инцидент с калиткой как есть и лёг спать.

XXXIX

На следующее утро Цуда, ещё не умывшись, был поражён неожиданным зрелищем, которого совсем не ожидал увидеть, ложась спать накануне.

Он встал с постели около девяти. Как обычно, пройдя через прихожую, хотел выйти из гостиной в кухню. И тут увидел чинно сидящую там, великолепно и празднично одетую О-Нобу. Он опешил. Довольная видом мужа, на которого наряд супруги подействовал так, будто ему плеснули холодной водой в лицо после пробуждения, она улыбнулась.

— Проснулись?

Цуда, хлопая глазами, смотрел на её пышную причёску о-марумагэ с красным шёлковым шнуром-тэгара, на узор расшитого воротничка и на белое напудренное лицо посередине всего этого, совсем новыми глазами, словно видел нечто необыкновенное.

— Что это с тобой? С самого утра?

О-Нобу была невозмутима.

— Ничего особенного. Ведь сегодня же день, когда вы идёте к врачу?

Его хакама и хаори, которые прошлой ночью он, должно быть, сбросил на пол и лёг спать, были аккуратно сложены и лежали на специальной бумаге.

— Ты что, собиралась идти со мной?

— Да, конечно, собираюсь. Я вам помешаю?

— Помешать не помешаешь, но...

Цуда снова, словно изучая, оглядел наряд жены.

— Уж больно всё это у тебя чересчур.

Он тотчас же мысленно представил себе сцену в тёмной приёмной, которую видел на днях. Группа сидевших там пациентов и эта разодетая молодая госпожа были совершенно несовместимы.

— Но сегодня же воскресенье.

— Воскресенье воскресеньем, но это же не в театр и не на любование цветами идти.

— Но я...

По мнению Цуды, в воскресенье с утра пациентов бывает ещё больше.

— Идти в таком роскошном наряде в эту лечебницу, да ещё супругам вместе, это немного...

— Шокирует?

Это слово, произнесённое О-Нобу, внезапно позабавило Цуду. Он рассмеялся. О-Нобу, чуть дёрнув бровью, тут же заговорила капризным тоном.

— Но переодеваться сейчас займёт много времени, это будет слишком хлопотно. Я ведь уже оделась, так что простите меня сегодня, ладно?

Цуда в конце концов сдался. Умываясь, он слышал, как О-Нобу приказывает служанке вызвать двух рикш, и этот звук нервировал его, словно его самого подгоняли.

Его завтрак, поскольку он не ел обычной пищи, занял не больше пяти минут. Даже не воспользовавшись зубочисткой, он встал и собрался было на второй этаж.

— Надо собрать вещи, которые нужно взять в больницу.

При этих словах Цуды О-Нобу тотчас же открыла шкаф у себя за спиной.

— Я приготовила здесь, взгляните.

Цуде пришлось пожалеть жену, одетую в выходной наряд, и он собственными руками вытащил из шкафа довольно тяжёлый портфель и маленький узелок. В узелке оказались только то самое стёганое кимоно, которое он примерял, и ночное бельё с завязками, но из портфеля беспорядочно вывалились зубочистки, зубной порошок, привычная бумага для писем цвета

лаванды, конверты того же цвета, вечное перо, маленькие ножницы, щипчики. Когда он вытащил самую тяжёлую и громоздкую вещь — большую иностранную книгу, он сказал О-Нобу:

— Это я оставляю.

— Вот как? Но она всегда лежит на столе, с закладкой, я думала, вы её читаете, вот и положила.

Цуда, ничего не ответив, тяжело опустил на татами немецкую книгу по экономике, которую читал уже больше двух месяцев и всё никак не мог осилить.

— Читать лёжа слишком тяжело, не годится.

Сказав это, Цуда, хоть и знал, что это уважительная причина оставить объёмистый том, чувствовал себя неловко.

— Вот как? Я не знаю, какие книги вам нужны, так что вы сами выберите, какие хотите.

Цуда спустился со второго этажа с двумя-тремя лёгкими романами и вместо книги по экономике засунул их в портфель.

XL

Так как погода была хорошая, они откинули верх у повозки рикш и, погрузив портфель и узелок — по одному в каждую, выехали из дому. Повернув за угол переулка и проехав один-два тё по трамвайной линии, рикша О-Нобу вдруг окликнул рикшу Цуды. Оба рикши тут же остановились.

— Ай-яй! Я кое-что забыла!

Цуда, обернувшись, молча уставился на жену. Не только муж был привлечён этими полными остроты словами, вырвавшимися из уст молодой женщины, так тщательно собиравшейся. Рикши тоже, не выпуская оглобель из рук, устремили любопытные взгляды на О-Нобу. Даже прохожие не могли не обратить мимолётного внимания на супругов.

— Что? Что ты забыла?

О-Нобу сделала вид, что задумалась.

— Подождите минутку. Я сейчас.

Она отправила свою рикшу обратно. Цуда, оставшийся в подвешенном состоянии, молча смотрел ей вслед. Рикша, скрывшись в переулке, вскоре снова появился и с бешеной скоростью подкатил к месту, где ждал Цуда. Когда он остановился перед ним, О-Нобу вытащила из-за пояса железную цепочку длиной около сяку (мера длины, около 30,3 см — прим. ред) и, свесив её, показала. На конце цепочки было кольцо, а в кольцо продето пять-шесть ключей разного размера, так что вместе с жестом О-Нобу, поднявшей цепочку повыше, до слуха Цуды донёлся звук дзира-дзира.

— Вот это забыла! Оставила лежать на комод.

В их семье, где, кроме супругов, была только служанка, когда они уходили вдвоём, нужно было на всякий случай запирать самое ценное, и кто-нибудь из них брал с собой ключи.

— Ты и храни.

О-Нобу, снова засунув звякающую цепочку за пояс и хлопнув по нему ладонью, улыбнулась, глядя на Цуду.

— Порядок.

Рикши снова тронулись.

К врачу они прибыли немного позже намеченного времени. Но не настолько, чтобы опоздать к утреннему приёму. Цуде было неловко сидеть вдвоём с женой в клинике, поэтому, поднявшись с прихожей, он сразу же подошёл к окошку аптеки.

— Можно сразу пройти наверх?

Студент, сидевший в аптеке, позвал из глубины практикантку. Эта медсестра, которой на вид было не больше шестнадцати-семнадцати лет, совершенно безыскусно, улыбаясь, поклонилась Цуде, но, увидев стоявшую рядом О-Нобу, слегка опешила, и на лице её появилось выражение: «Откуда взялся этот павлин?» О-Нобу, опередив её, сама поздоровалась: «Будьте любезны», — и медсестра, словно только тут опомнившись, тоже склонила голову.

— Девушка, возьми-ка это.

Цуда передал медсестре портфель, полученный от рикши, и направился к лестнице на второй этаж.

— О-Нобу, сюда.

Супругу, стоявшая у входа в приёмную и заглядывавшая в комнату, где находились пациенты, сразу же последовала за Цудой на лестницу.

— Какая ужасно мрачная комната, вон та.

Второй этаж, выходящий на юго-восток, к счастью, был светлым. Открыв сёдзи и выйдя на веранду, она, глядя на сушившееся бельё западной прачечной, находившейся прямо перед ней, оглянулась на Цуду.

— Здесь, в отличие от первого этажа, солнечно. И комната неплохая. Хотя татами грязноваты.

На втором этаже этой лечебницы, переделанной из чьего-то особняка, возможно, бывшего подрядчика, сохранился налёт былой элегантности.

— Хоть и старая, но, может, и лучше нашего второго этажа.

Цуда, с осенним настроением глядя на сверкающее на солнце белое бельё, сказал это, окидывая взглядом слегка тронутый временем потолок и столб в токонома.

XLI

В этот момент та самая медсестра принесла чайник с заваренным чаем.

— Сейчас всё приготовят, подождите немного.

Делать нечего, они чинно сели друг против друга и стали пить чай.

— Что-то мне не по себе, никак не успокоюсь.

— Прямо как в гостях, да?

— Да.

О-Нобу достала из-за пояса женские часики и посмотрела на них. Цуду больше, чем время, беспокоила предстоящая операция.

— Интересно, сколько минут это займёт? Даже если не видеть глазами, а только слышать звук этих инструментов, становится как-то не по себе.

— Я боюсь смотреть на такое.

О-Нобу действительно испуганно повела бровью.

— Поэтому ты лучше жди здесь. Незачем специально идти к операционному столу и смотреть на неприятные вещи.

— Но в таких случаях, наверное, нужно, чтобы кто-нибудь из близких присутствовал?

Цуда посмотрел на серьёзное лицо О-Нобу и рассмеялся.

— Это когда болеют тяжело, при смерти. Кто же будет звать свидетелей на такое пустяковое лечение?

Цуда был из тех мужчин, которые не любят показывать женщинам что-то неприятное. Особенно ему не хотелось показывать свои неприятные места. А если ещё точнее, смотреть на свои неприятные места доставляло ему куда больше страданий, чем обычному человеку.

— Ну, ладно, не пойду, — заявила О-Нобу и снова взглянула на часы.

— До полудня управятся?

— Думаю, да. А впрочем, раз уж на то пошло, не всё ли равно, когда?

— Это, конечно, так, но...

О-Нобу не договорила. Цуда и не спрашивал.

Медсестра снова появилась на лестнице.

— Приготовления закончены, проходите, пожалуйста.

Цуда сразу встал. О-Нобу тоже попыталась было.

— Я же сказал, жди здесь.

— Я не в кабинет. Хочу только позвонить по здешнему телефону.

— У тебя дела?

— Не дела, но... Хочу позвонить Хидэ-сан, сообщить ей о тебе.

Дом сестры Цуды, находившийся в том же районе, был отсюда недалеко. Цуда, который до сих пор не слишком думал о сестре в связи с этой болезнью, остановил собиравшуюся встать О-Нобу.

— Не надо, не сообщай. Стóит ли поднимать шум, извещая Хидэ? К тому же, если она придёт, будет шумно и неприятно.

Эта младшая сестра, хоть и младше его, но с другим характером, была для Цуды в некотором смысле человеком, с которым трудно иметь дело.

О-Нобу, привстав, ответила:

— Но потом она опять будет что-то говорить, мне будет неловко.

Цуда, не найдя веской причины запрещать, лишь пробубнил:

— Звонить можно, но не обязательно же именно сейчас. Она живёт близко, наверняка сразу придёт. А мне только что сделали операцию, нервы на пределе, да ещё когда начнут: «брат то, отец сё» — это действительно неприятно.

О-Нобу тихо, словно боясь, что услышат внизу, засмеялась. Но её обнажившиеся белые зубы говорили мужу не столько о сочувствии, сколько о простом ощущении комичности данной ситуации.

— Ну, тогда не буду звонить Хидэ-сан.

С этими словами О-Нобу наконец встала вместе с Цудой.

— У тебя есть ещё куда звонить?

— Да, позвоню Окамото. Я обещала сделать это до полудня, так что позвоню, ладно?

Они спустились по лестнице друг за другом и разошлись в разные стороны. Когда один встал перед телефоном, другой сел на стул в кабинете.

XLII

— Препарат выпили?

Врач, в накрахмаленном, только что выстиранном белом халате, который хрустел при каждом движении, спросил Цуду.

— Принял, но действие оказалось не таким, как я ожидал.

У Цуды вчера просто не было времени беспокоиться о действии лекарства. Занятый множеством других дел, он не только не испытал никакого психического воздействия от этого слабительного, но и физиологическое действие оказалось на удивление слабым.

— Тогда сделаем ещё клизму.

Результат клизмы тоже был недостаточным.

Цуда, как был, лёг на операционный стол на спину. Когда холодная водонепроницаемая ткань коснулась голой кожи, он невольно вздрогнул. Свет падал только с противоположной стороны от его головы, лежащей на твёрдой подушке-валике, поэтому его глаза, как у человека, лежащего лицом к свету, никак не могли успокоиться. Он несколько раз моргнул, несколько раз посмотрел на потолок. Тут мимо него прошла медсестра, неся нечто вроде мелкого никелированного четырёхугольного подноса с хирургическими инструментами, и блеск металла замерцал. Лёжа на спине, он только и мог думать об этом блеске. Чувство, что он нарочно подсматривал что-то страшное, чего видеть не следовало, ещё более усиливалось. В это время его уха внезапно достиг звонок телефона на улице. Он вдруг вспомнил об О-Нобу, о которой до сих пор даже и не думал. Когда её дело с телефонным звонком Окамото наконец закончилось, его лечение только началось.

— Мы обойдёмся легким анестетиком. Думаю, сильно больно не будет. Если укол не подействует, будем продвигаться, впрыскивая лекарство вглубь. Думаю, так, наверное, получится.

Слова врача, делавшего это заявление, одновременно обрабатывая место операции, Цуда слушал со странным чувством, в котором смешались и страх, и равнодушие.

Местное обезболивание подействовало удачно. Пристально глядя в потолок, он почти не знал, какие серьёзные события происходят ниже его пояса. Только иногда ему казалось, что кто-то далёкий давит на определённую часть его тела. Чувствовалось глухое сопротивление.

— Ну как? Не больно?

В вопросе врача чувствовалась полная уверенность. Цуда, глядя в потолок, ответил:

— Не больно. Но чувствуется давление.

У него не было подходящих слов, чтобы выразить это ощущение тяжести внизу. Вдруг ему в голову пришла фантазия: наверное, такое же чувство испытывает бесчувственная земля, когда её разрывают человеческие руки.

— Странное ощущение. Необъяснимое.

— Вот как? Терпите?

Врач, видимо, опасался, как бы у пациента в процессе не случился обморок. И его тон, вместо того чтобы успокоить, скорее взволновал Цуду. Он не знал, дают ли в таких случаях для профилактики вино, но ему, во всяком случае, не хотелось, чтобы применяли какие-то особые меры.

— Всё в порядке.

— Вот как? Скоро уже.

Пока шёл этот разговор с пациентом, руки врача, казалось, работали безостановочно с мастерством, приходящим только с опытом. Но операция, вопреки его словам, закончилась не так быстро.

Время от времени слышался звук металла, ударяющегося о медицинский лоток. Звук, похожий на хруст разрезаемых ножницами тканей, сильно преувеличенный, угрожающе бил по барабанным перепонкам. Цуда при каждом таком звуке мысленно представлял себе цвет алой крови, которую нужно было вытирать марлей. Его нервы напряглись до такой степени, что сама неподвижность его тела стала восприниматься как отдельная мука. Какое-то беспокойное, зудящее насекомое, пугая, ползло по его сосудам.

Он широко открыл глаза и уставился на потолок. Над этим потолком находилась О-Нобу, разодетая, как на праздник. О чём она сейчас думает, что делает — он совершенно не знал. Ему захотелось громко крикнуть снизу, позвать её. Тут со стороны ног раздался голос врача.

— Наконец-то готово.

После того, как ему безбожно напихали марлю в задний проход, доктор добавил:

— Фистула оказалась неожиданно твёрдой, есть опасность кровотечения, так что пока лежите спокойно.

С этим последним замечанием Цуду наконец сняли с операционного стола.

XLIII

Когда он выходил из кабинета, следовавшая за ним медсестра спросила:

— Как вы себя чувствуете? Нет ли тошноты?

— Нет... А что, у меня бледный вид?

Цуда, сам несколько обеспокоенный, вынужден был переспросить.

Ощущение от огромного количества марли, запиханной в рану, было куда неприятнее, чем можно было себе это представить. Он, делать нечего, медленно пошёл. Но, поднимаясь по лестнице, чувствовал, как разрезанная плоть трётся о марлю с шершавым звуком.

О-Нобу стояла наверху лестницы. Увидев лицо Цуды, она сразу же окликнула его сверху.

— Всё? Как?

Цуда, не дав вразумительного ответа, вошёл в комнату. Там, как он и ожидал, была постелена постель, покрытая белой простынёй, ожидая его отдыха. Едва сбросив хаори, он сразу же растянулся на ней. О-Нобу, взявшись обеими руками за воротник, чтобы надеть на него сзади стёганое кимоно из узорчатого шёлка на мышинового цвета фланели, с разочарованной горькой усмешкой сложила его рукавами внутрь и положила в ногах у постели.

— Лекарство принимать не нужно?

Она повернулась к стоявшей рядом медсестре.

— Особых лекарств для приёма внутрь не требуется. Обед мы сейчас приготовим и принесём сюда.

Медсестра собралась уходить. Цуда, молча лежавший, вдруг открыл рот.

— О-Нобу, если ты хочешь есть, попроси медсестру, ладно?

— Да, наверное.

О-Нобу заколебалась.

— Как же мне быть?

— Уже ведь за полдень.

— Да. Двенадцать двадцать. Твоя операция длилась ровно двадцать восемь минут.

О-Нобу открыла крышку часов и, глядя на них, назвала точное время. Пока Цуда, как рыба, положенная на разделочную доску, смирно терпел на операционном столе, О-Нобу, должно быть, над тем самым потолком, на который он должен был смотреть, мерила время операции, словно соревнуясь с часами.

Цуда спросил снова:

— Сейчас ехать домой — толку никакого, правда?

— Да.

— Тогда закажи здесь европейский обед и поешь, разве не трудно?

— Да.

Ответ О-Нобу был всё так же нерешителен. Медсестра наконец спустилась вниз. Цуда как усталый человек, избегающий яркого света, закрыл глаза. Тут О-Нобу над его головой произнесла: «Дорогой, дорогой», и ему пришлось снова открыть глаза.

— Плохо себя чувствуешь?

— Нет.

Удостоверившись, О-Нобу сразу же продолжила.

— Я позвонила. Сказали, что скоро придут тебя проводить.

— Вот как?

Цуда ответил коротко и снова попытался закрыть глаза. Но О-Нобу не дала.

— Ещё сказали: «Обязательно идём в театр вместе», но мне ведь нельзя, да?

В сообразительной голове Цуды разом мелькнуло сегодняшнее поведение О-Нобу. И её слишком нарядный для поездки в больницу костюм, и её оговорка перед выходом, что сегодня

воскресенье, и её суетливое поведение здесь, когда она звонила, — всё это можно было истолковать как направленное на одно: на театр. Если смотреть с этой точки зрения, даже мотив, по которому она так точно засекала время операции, не мог не стать предметом подозрения. Цуда молча повернулся на бок. Ему бросились в глаза аккуратно сложенные стопкой на токонома конверты, почтовая бумага, ножницы, книги. Это было то, что он принёс сюда в портфеле.

— Я хотела попросить у медсестры маленький столик и положить это на него, но она ещё не принесла, так что я пока оставила вот так. Может, почитаете?

О-Нобу тут же встала и сняла книги с токонома.

XLIV

Цуда не притронулся к книгам.

— Ты ведь отказалась от похода с Окамото?

С лицом, выражавшим скорее недовольство, чем подозрение, он повернулся на другой бок, и пол на этом втором этаже, не очень прочном, словно встречая его желание, закрипел.

— Я отказалась.

— Отказалась, а они всё равно говорят «иди»?

Тут Цуда впервые взглянул на лицо О-Нобу. Но на нём не появилось ничего из того, что тот ожидал увидеть. Она, напротив, улыбнулась.

— Отказалась, а они всё равно твердят «иди».

— Но...

Он слегка запнулся. В груди у него ещё оставались слова, которые нужно было произнести, но голова не работала так быстро, как хотелось.

— Но... Раз ты отказалась, не могут же они давить со своим «иди»?

— Вот именно что давят. Окамото, видно, совсем бестолковый.

Цуда замолчал. Он не знал, как продолжить допрос.

— Ты всё ещё мне не веришь? Мне неприятно, когда ты мне не доверяешь.

Её брови дёрнулись, выражая крайнее неудовольствие.

— Не то чтобы не верю, но это как-то странно.

— Вот как? Тогда скажи, что странно, я всё объясню.

К несчастью, Цуда не мог ясно выразить, что именно странно.

— Всё-таки не веришь?

Цуда почувствовал, что, если он ответит прямо, что не верит, это как-то заденет его достоинство как мужа. В то же время позволить женщине так легкомысленно к себе относиться тоже было для него немалым страданием. Пока эти два «я» боролись в его душе, постороннему взгляду он казался сравнительно спокойным.

— Ах!

О-Нобу тихонько вздохнула и бесшумно встала. Снова открыв задвинутые было сёдзи, она вышла на южную веранду и, положив руки на перила, задумчиво уставилась в высокое, ясное осеннее небо. На сушилке соседней прачечной висели рубашки, простыни и, как и в прошлый раз, купаясь в ярком солнечном свете, колыхались на сухом ветру.

— Хорошая погода...

Когда О-Нобу тихо, словно про себя, произнесла это, Цуде почудилось, что он слышит жалобу маленькой птички в клетке. Ему стало немного жаль эту слабую женщину, которую так привязал к себе. Он попытался заговорить с О-Нобу, но не знал, с чего начать. Та тоже, опершись о перила, не сразу вернулась в комнату.

Тут снизу поднялась медсестра с обедом для них обоих.

— Простите, что заставила ждать.

На столике Цуды были только два яйца, бульон и хлеб. Да хлеба было всего ничего: количество было, видимо, заранее определено.

Цуда, лёжа на животе и работая челюстями, улучил момент и спросил О-Нобу.

— Ты идёшь или нет?

О-Нобу тут же перестала орудовать вилкой.

— Как ты позволишь. Если скажешь идти, пойду, если велишь не ходить, не пойду.

— Какая покладистая.

— Я всегда покладистая. И Окамото тоже посоветовал: спроси у мужа, и если он позволит, то почему бы и не пойти, тем более если болезнь несерьёзная.

— Но ведь это ты позвонила им, разве нет?

— Да, конечно, позвонила, потому что обещала. Они сказали: один раз отказалась, но, может, по обстоятельствам сможешь пойти, так что позвони ещё раз в полдень и сообщи.

— То есть такой ответ пришёл от Окамото?

— Да.

Но О-Нобу не показывала Цуде этого письма.

— Короче, как ты сама? Хочешь идти или не хочешь?

О-Нобу, оценив выражение лица Цуды, тут же ответила:

— Конечно, хочу.

— Наконец-то призналась. Ну, ступай.

С этим разговором они и закончили обед.

XLV

Оставив мужа в клинике, О-Нобу уже сильно опаздывала к назначенному времени. Она сообщила название театра рикше и тут же села в повозку, самую новую из четырёх-пяти, стоявших на углу улицы.

Резиновые шины, выехав из переулочка, покатились прямо по трамвайной линии. Бойкая езда рикши, который, казалось, гнал только в оживлённом направлении, без всякой цели, заразила О-Нобу. На мягком, пружинистом сиденье её тело, подпрыгивая, быстро покачивалось, и в душе у неё возникло мягкое, лёгкое волнение. Это было удовольствие, которое испытываешь, когда, не обращая внимания на суетящуюся вокруг жизнь, безжалостно мчишься наперекосок к цели.

У неё не было времени думать о доме. Теперь она могла спокойно забыть о муже хотя бы на один день. Но само время неслось вперёд вместе с её рикшей. Она, не питавшая с самого начала особой склонности к театру, беспокоилась не столько о том, что опаздывает, сколько о том, чтобы поскорее туда добраться.

Рикша остановился перед входом. В голове О-Нобу, которая сразу ответила служанке «Окамото», мелькали фонари, тростниковые шторы, красные и белые искусственные цветы. Когда она выходила из повозки, у неё не было времени осмыслить все эти цвета и формы, разом бросившиеся в глаза, как её сразу же проводили по коридору, и она вдруг встретила лицом к лицу с залом, похожим на море, где в беспорядке были развёрнуты узоры во много раз более сложные и яркие. Затем служащий открыл дверь в коридоре и сказал: «Сюда», и она из этого проёма взглянула вдаль, на переднюю часть зала. Для неё, любившей бывать в таких местах, это ощущение, хоть и не было новым, оставалось вечно новым. Она, словно человек, прошедший через темноту и вдруг вышедший на свет, открыла глаза. И в её напряжённой груди отчётливо возникло осознание, что она становится частью живого, движущегося перед глазами большого узора, и все её жесты и движения будут отныне вплетены в него.

На месте не было видно господина Окамото. Пришли его жена и двое дочерей, так что места для О-Нобу было предостаточно. Тем не менее, старшая дочь Цугико, видимо, беспокоясь, что место О-Нобу оказалось в тени, повернулась и, вытянувшись наискосок, задала вопрос:

— Вам видно? Может, поменяемся?

— Спасибо. Здесь хорошо.

О-Нобу покачала головой.

Четырнадцатилетняя Юрико, сидевшая прямо перед О-Нобу, будучи левшой, держала маленький лёгкий бинокль из слоновой кости в левой руке, положив локоть на перила, обитые красной материей, и, оглянувшись назад, выпалила:

— Вы опоздали. А я думала, вы к нам домой придёте.

Она, по молодости лет, даже не догадалась сказать что-то О-Нобу о болезни Цуды.

— Были дела?

— Да.

О-Нобу ответила коротко и уставилась на сцену. Туда же пристально глядела мать сестёр. Она и О-Нобу, встретившись взглядами в первый раз, лишь молча обменялись поклонами и до самого стука деревянных колотушек не проронили ни слова.

XLVI

— Хорошо, что ты всё-таки пришла. А мы тут с Цуги только что говорили, думали, может, сегодня не получится.

После того как занавес опустили, жена Окамото, наконец принявшая непринуждённый вид, заговорила с О-Нобу.

— Вот видите, мама, я же говорила!

Цугико, с гордым видом взглянув на мать, тут же добавила, обращаясь к О-Нобу:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.